

84(2=411.2)

Р 471

НАРОДНАЯ
БИБЛИОТЕКА

Ф. М. Решетников

ПОДЛИПОВЦЫ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

1920

С 190793 - ко

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО.

НАРОДНАЯ БИБЛИОТЕКА.

- Гаршин, Всеволод. Красный паволок. М. 1919. 32 с. 80 к.
- Гаршин, Всеволод. Рассказы о войне. 1) Четыре дня. 2) Трус. М. 1919. 60 с. 1 р. 20 к.
- Герцен, А. И. 1. Сорока-воробья. Повесть. II. Девичья и передняя. Из Былого и Дум. П. 1918. 80 с. 75 к.
- Гоголь, Н. В. Женильба. Совершенно невероятное событие, в 2-х действиях. П. 1919. 80 с. С рис. 10 р.
- Гоголь, Н. В. Нос. Козляска. П. 1919. 56 с. 3 р.
- Гоголь, Н. В. Ночь перед Рождеством. П. 1919. 60 с. 3 р.
- Гоголь, Н. В. Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. П. 1919. 72 с. 3 р.
- Гоголь, Н. В. Ревизор. Комедия в 5-ти действиях. П. 1919. 126 с. С рис. Н. В. Симанова. 15 р.
- Гоголь, Н. В. Сорочинская ярмарка. П. 1919. 48 с. 1 р.
- Гоголь, Н. В. Старосветские помещики. Повесть. П. 1919. 88 с. 4 р.
- Гоголь, Н. В. Страшная месть. П. 1919. 64 с. 2 р.
- Гоголь, Н. В. Тарас Бульба. П. 1920. 156 с. С рис. Жилина и Филарета. 80 р.
- Григорьевич, Д. В. Антон-горошника. Повесть. П. 1919. 144 с. 8 к.
- Достоевский, Ф. М. Крошечка и др. рассказы. П. 1919. 112 с. 15 р.
- Жуковский, В. А. Стихотворения. Собраны под ред. В. Брюсова. М. 1919. 64 с. 1 р. 20 к.
- Златовратский, Н. И. Рассказы. П. 1919. 112 с. 15 р.
- Каролин (Н. Е. Петропавловский). Вечный двигатель. М. 1919. 61 с. 80 к.
- Каролин (Н. Е. Петропавловский). Синзу вверх. Под ред. Е. Р. Давыдова. П. М. 1920. 118 с. 35 р.
- Крылов, И. А. Избранные басни. П. 1918. 112 с. 75 к.
- Левитов, А. И. Аховский посад. (Стенные права старого времени). М. 1919. 64 с. 1 р. 20 к.
- Левитов, А. И. Рассказы. М. 1919. 96 с. 4 р.
- Левитов, А. И. Скалка и правда. Вesperный. М. 1919.
- Лермонтов, М. Ю. База. М. 1919. 48 с. 2 р.
- Лермонтов, М. Ю. База. Максим Максимич. П. 1919. 64 с. 2 р.
- Лермонтов, М. Ю. Демби. П. 1919. 40 с. 80 к.
- Лермонтов, М. Ю. Ильяша Моря. П. 1920. 104 с. 50 р.
- Лермонтов, М. Ю. Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова. П. 1919. 24 с. 50 к.
- Лермонтов, М. Ю. Тамань. М. 1918. 16 с. 40 к.
- Лермонтов, М. Ю. Тамань. Фаталист. П. 1919. 32 с. 1 р.
- Лермонтов, М. Ю. Фаталист. М. 1918. 14 с. 40 к.
- Некрасов, Н. А. Стихотворения. Сборник 1-й. П. 1919. 112 с. С рис. 5 р.
- Некрасов, Н. А. Стихотворения. Сборник 2-й. П. 1919. 104 с. С рис. 15 р.
- Островский, А. И. Бедность не порок. Комедия в 3-х действиях. П. 1919. 70 с. 10 р.
- Островский, А. И. Гроза. Драма в пяти действиях. П. 1918. 88 с. 75 к.
- Островский, А. И. Доходное место. Комедия в пяти действиях. П. 1919. 93 с. 3 р.
- Островский, А. И. Не так живи, как хочешь. П. 1919. 50 с. 8 р.
- Плещинский, А. И. Стихотворения. Редакция В. Вересаева. М. 1919. 64 с. 1 р. 20 к.
- Пушкин, А. С. Вязьмы (рассказы в стихах), сказки и поэмы. Под редакц. Валерия Брюсова. М. 1919. 44 с. 2 р.
- Пушкин, А. С. Борис Годунов. Трагедия. П. 1919. 120 с. 5 р.
- Пушкин, А. С. Выстрел. Метель. П. 1919. 88 с. 6 р.
- Пушкин, А. С. Гробовщик. Станционный смотритель. П. 1919. 32 с. 3 р.
- Пушкин, А. С. Евгений Онегин, роман в стихах. П. 1920. 300 с. 50 р.
- Пушкин, А. С. Кавказский пленник. Бахчисарайский фонтан. Братья-разбойники. П. 1919. 64 с.
- Пушкин, А. С. Медный всадник. П. 1919. 20 с. 1 р. 50 к.
- Пушкин, А. С. Песни и стихотворения разных народов, собранные под редакцией Валерия Брюсова. М. 1919. 48 с. 2 р.
- Пушкин, А. С. Полтава. П. 1919. 64 с. 1 р.
- Пушкин, А. С. Сказка о рыбаке и рыбке. Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях. П. 1919. 32 с. 50 к.

ПАРОДНАЯ
БИБЛИОТЕКА

К. М. Решетников
Подпись

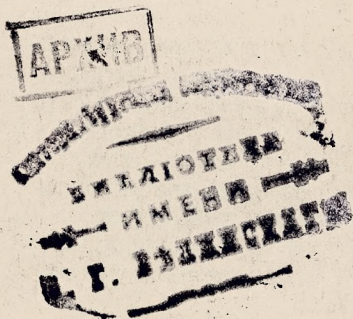
84(2-411.2)71
Р-3(47уроч
Р471

Ф. М. Решетников.

ПОДЛИПОВЦЫ.

Книг. 1936 г. № 407932

1914 г.



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО.

Москва. 1920.

ОБЛ. БИБЛИОТЕКИ

г. СВЕРДЛОВСК



8

1917 г. 10
1917 г. 10

Ф. М. РЕШЕТНИКОВ.

Федор Михайлович Решетников родился 5 сентября 1841 г. в Екатеринбурге. Отец его был сначала дьячком, а потом поступил в почтальоны. Девятимесячным ребенком Решетников остался сиротой. Мать его не выдержала побоев и грубости пьяницы мужа, ушла с ним из дома и направилась в Пермь. В Перми она умерла, а ребенок остался на руках у родственников, как приемыш. Здесь он увидел то же, что видел бы и дома: нищету, грубость, побои, пьянство. Решетников был мальчик подвижной и веселый, приемные же его родители не любили веселья. Они часто били мальчика до крови и потери сознания; мальчик озлоблялся и стал озорником: досаждал соседям, убегал из школы, портил все, что попадется под руку в доме. Очень рано пришлось поступить ему на службу в почтовую контору. Он писал письма неграмотным и разносил газеты. Чтобы заработать несколько лишних копеек, он давал учителям уездного училища чужие газеты; по возвращении от незаконных читателей он не клал газеты на место, а просто уничтожал их. Вместе с газетами пропало несколько нужных пакетов. Над Решетниковым нарядили суд; так как лет ему было немного, то его не наказали по закону, а сослали на покаяние в Соликамский монастырь.

Это покаяние погубило Решетникова. «В одну неделю,— писал он позже в дневнике,—я познал нечестие монахов, как они пьют вино, ругаются, едят говядину, ходят по ночам, ломают ворота». В монастыре Решетников выучился пить горькую. Тут же он мечтал о чистой и хорошей жизни, но дурная привычка к вину лишала его сил, устойчивости и здоровья.

Выйдя из монастыря, Решетников окончил курс в уездном училище, переехал в Екатеринбург и поступил в уездный суд на жалование в три рубля в месяц. Он стал много писать, но среди близких писания его встречали мало сочувствия. Они называли писательство Решетникова «черною немочью». В 1862 году Решетников поместил в «Пермских Губернских Ведомостях» первый свой более значительный очерк из жизни народа. Славы это ему не принесло, а неприятностей было много: начальство и товарищи стали бояться и не любить его, как опасного человека и доносчика,—так они понимали литературу. Случайный знакомый дал Решетникову место в Петербурге. В 1863 году он переехал в столицу и отдал поэту Некрасову для журнала «Современник» лучшую свою вещь, повесть «Подлиповцы».

«Подлиповцы» дали Решетникову известность и положение талантливого писателя среди других писателей Петербурга. Он мог оставить службу и заняться одной литературой. Однако, слишком поздно улыбнулась судьба писателю: силы были растрчены, не доставало знаний, чтобы идти в гору. Он писал не лучше, а хуже, чем раньше. Тосковал, сознавая свое бессилие, и пил от тоски, разрушая вином тело и душу. В марте 1871 года Решетников умер тридцати лет. Последние месяцы жизни он провел в большой печали и угрюмости, стал резок и нелюдим, замкнулся в себе, и смерть его была как бы отказом от слишком тяжелой, темной и неудавшейся жизни.

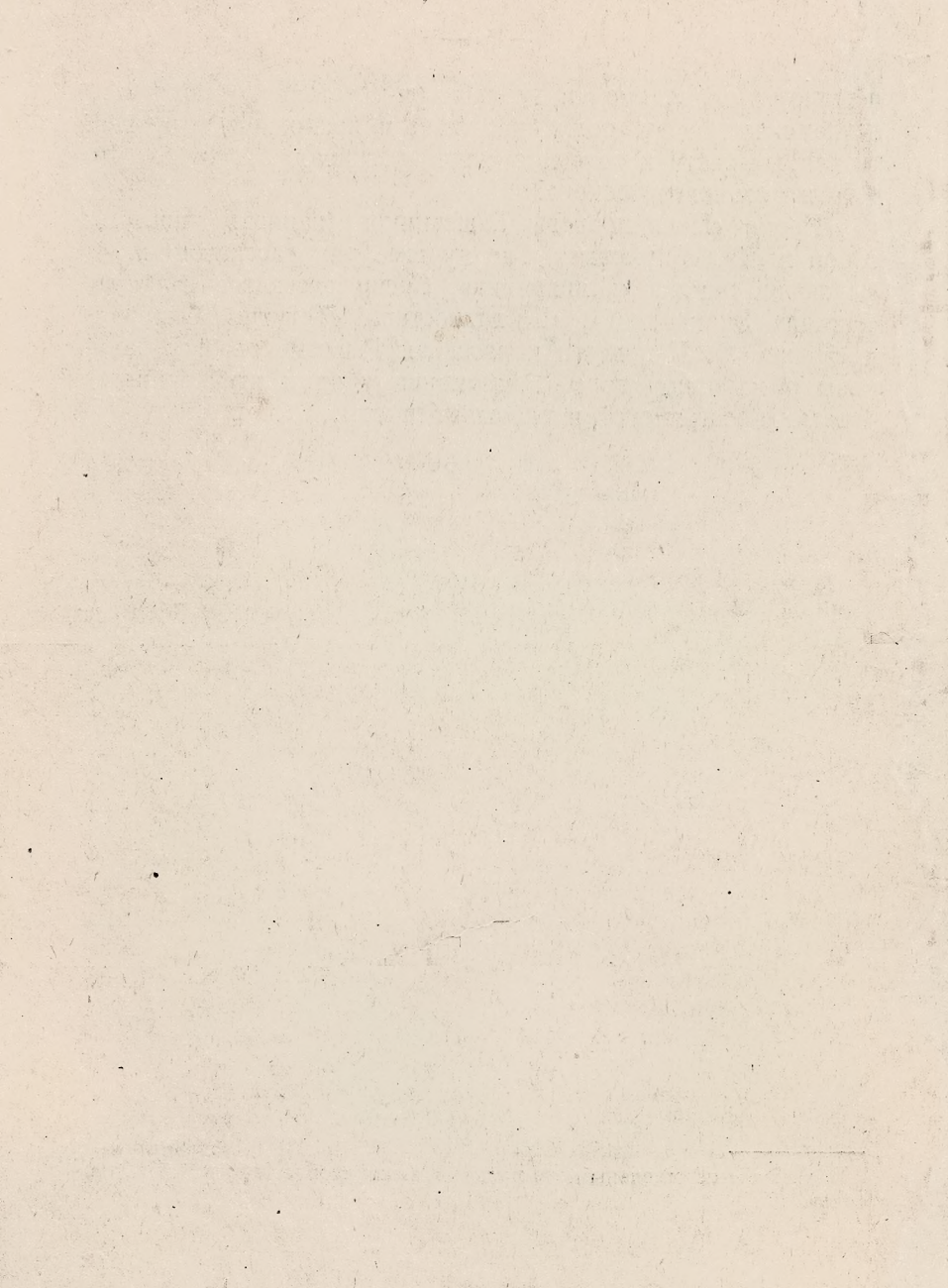
Решетников сделал в русской литературе большое дело. После него писать о крестьянине и рабочем стали совсем иначе, чем писали до него. Он писал очень сухо, просто и спокойно, не давая воли чувству, не заботился о занимательности рассказа. Он научил писателей и читателей думать о народном горе не свысока, смягчая и прикрашивая его, а как о настоящем человеческом горе—во всей его глубине, тяжести и уродстве. Он не придумывал ничего о крестьянине и о рабочем. Его «Подлиповцы»—почти дикари; они пьяницы, воры и лентяи. Но чем больше сознавал Решетников темные стороны их быта, тем настойчивее было его требование, скрытое за суровостью писаний, чтобы и подлиповские, и

пермские, и всякие иные дикари-крестьяне, бродяги и неудачливые люди получили право и возможность просветиться, вырасти и свободно жить, развивая в себе то, что есть в них человеческого.

Кроме «Подлиповцев» Решетников написал повести: «Свой хлеб», «Глумовы», «Где лучше», ряд рассказов и отрывков из романа «Ставленник». Среди рассказов—лучшие: «Никола Знаменский», «Шилохвостов», «Тетушка Опариха» и «Яшка» *). И повести, и рассказы Решетникова все написаны о народном горе. Решетников умел и любил писать о детях крестьянской и рабочей бедноты.

Е. Л.

*) Все они отдельными выпусками выходят в «Народной Библиотеке».



ПОДЛИПОВЦЫ.

I.

Ила и Сысойко.

Деревня Подлипная очень непривлекательна на вид. Она состоит из шести домиков, построенных по левую сторону дороги, идущей от других деревень, и разбросанных по неровной местности так, что один домик стоит выше другого, другой около дороги, а третий и прочие пятаются к лесу. Домики эти,—четыре с крышами, два без крыш, с соломою на потолке, со слюдою в оконных рамах, со стайками и плетушками,—огорожены так: вколотили в землю несколько тонких березовых кольев, да и связали за них параллельно к земле, где по две, где по три березки, и назвали плетнем. Ворот в Подлипной вовсе нет. Добро бы леса не было, а то кругом деревни лес высокий и густой, все береза да сосна, можно бы э-во какие дома построить и заплоты дощаные с воротами сделать...

«А пошто?»—спросить подлиповец, не понимая.—«А и так, тожно, баэко!»... За дворами не видится риг или зародов сена, нет огородов с овощами. Только направо заметны гряды с капустой, морковью и преимущественно картофелем.

Самая местность тоже непривлекательна, хоть зимой, хоть летом. Против домиков через дорогу, за грядами большое поле, ничем не огороженное, потом лес, а в левой стороне тоже поле, а за полем тянется большое болото, поросшее мелкими кустарниками березы, ели и липы. Летом досадно

становится, как посмотришь на поля: земля кое-как вспахана, кое-где на засохших кочках видится травка, да разве две-три лошади шатаются по полю, да и то недолго: они идут в лес, там больше травы. «Пробовали»,—сказывают подлиповцы,—«уж как вспахивали землю: и поздно, и рано, да проку нет. Вспахаешь,—стужа настанет, либо дождь, потом жара; все окоченеет, а там дождь, иней, снег... Пробовали и за хлебушком ходить, да все не в толк: только начинает созревать хлеб,—баско! вдруг дожди, заморозки, снег... Поплачешь, погорюешь, да и скинешь травку божью, измелешь и ешь так с горячей водой, либо настоящей мучки смешаешь, али коры осиновой, либо липовой наскоблишь»... Зимой частые ветры да вьюги по полю, снега большие до полокон заметают домики. а которые ниже, то и до крыш, а дороги и след простыл.

Мало в этой деревне видится жизни. Летом еще можно увидеть мужчину или женщину, или ребят на поле или около домиков, но зато не слышится веселого говора, не слышится песен, у всех точно какое-то горе, какое-то болезненное состояние. На что дети,—и те резвятся как-то словно нехотя; побежит, упадет, заплачет и побежит домой; даже лошади, коровы и свиньи ходят как-то сонно; одни только девять куриц да два петуха бегают скоро, и воздух оглашается криком крестьян на животных, лаем одной собаки, единственного деревенского сторожа, уцелевшей каким-то чудом от бойни хозяина, желавшего употребить ее шкуру на шапку, криком кур, маленьких ребят да чириканьем коростелей в болоте... Зимой еще хуже. Тогда все дома точно погребены снегом, на дороге целую неделю не видать следов человеческих, все как будто спряталось, только кой-где корова промычит, да рыщет по полю собака. Так вот и кажется, что люди вымерли или напала на них спячка.

В самых домах тоже не лучше. Самое худое время, это—зима. Везде бедная обстановка, нечистота, плач и стоны; половина лежит, половина сидит молча или что-нибудь делает, ругая работу, ругая себя и все окружающее. Словно всем им жизнь опротивела, все чем-то мучатся, всем постыл свет Божий... А есть между ними и молодые ребята, и моло

дые девушки; правда, нет красивых, но все-таки и у них есть своя зазнобушка, тоска невыносимая, зависть лютая... Живут в этой деревне государственные крестьяне Чудинской волости, Чердынского уезда, бедные люди, каких много в северной части этого уезда, но еще беднее прочих крестьян. У крестьян прочих деревень есть какая-нибудь промышленность, природа дает им что-нибудь для сбыта, а эти просто держатся словно чудом. Уж как они ни возделывали землю, как ни молились своим пермякским богам, чтобы хлебушко свой был,—нет ничего. Так и бросили поле, и вот уже второй год, как поле стоит нетронутым и дает только небольшую травку животным. Купить хлеба подлиповцам не на что. Положим, они нарубят леса, но куда везти?—город от них в ста верстах. Положим, скосят в лесу траву, и можно будет излишек продать,—опять-таки город далеко; а в других деревнях и селах свое сено, свои дрова и свой лес,—каждый бы сам продал. Вот они, сделав кадки, наберушки, лапти везут это на продажу в город, но там и без них много таких горемык, как подлиповцы, и всякий сбывает за бесценок, лишь бы хлебушка купить. Занимаются они и стрельянием рябков, ходят на медведей; но на порох надо деньги, а медведя хоть и можно убить ломом чугунным или чем иным, так медведей ныне мало. Сбыта очень мало, и редкий много-много получит в лето или зиму рубля три. От этого у них явилась апатия, все они потеряли надежду на сбыт чего-нибудь, и редкого вытащишь из его избы...

Каждый взрослый мужчина и женщина или девушка носят по одной рубахе круглый год, ходят летом в рубахах, зимой надевают полушубок из овечьей, телячьей и собачьей шкур; мужчины надевают на голову такие же шапки, а лапти носят все, кроме детей, которые едва-едва прикрывают тело чем-нибудь. Это еще ничего, но самое главное—пища мучит всех. Настоящий хлеб едят редкие с месяц в год; остальное время все едят мякину с корой, и от этого у них является лень к работе, болезнь, и часто все подлиповцы лежат больные, сами не зная, что с ними делается, а только ругаются и плачут. Надо заметить, что и в Чердыни хлеб слишком дорог, потому что его привозят туда только зимой из других

городов или доставляют на судах бичевники летом из Вятской губернии,—из Сарапула или Елабуги.

Подлиповцы уже привыкли к такой жизни, свыклись и со своими болезнями. Они знают, что помочь им некому; даже самые люди против них. Все они, жители своей деревни, родня друг другу—отцы, братья, сестры, кумовья и кумушки; родни у них много и в других деревнях, но те не любят их, не знаются с ними, потому что и сами-то они голые, и от подлиповцев нечего взять. Со своей стороны и подлиповцы не любят их и не ходят к ним. Подлиповцев не любят жители других деревень еще и за то, что подлиповцы своей пермякской веры держатся, слывут за ленивых, самых бедных, и их называют колдунами: захочет подлиповец посадить килу (грыжу)—посадит, захочет, чтобы такой-то умер—умрет.

Зачем же подлиповцы живут тут?—спросит читатель.—Подлиповцам не растолкуешь этого, они сами не знают, откуда они взялись. Известно только некоторым из других деревень крестьянам, что сюда, когда еще не было поля и не было ни одного дома, давно переселился один крестьянин-зверолов из какой-то соседней деревни. Ему хотелось жить одному со своим семейством, так как он перессорился с женою и детьми несколько лет, не сообщаясь с прочими крестьянами. После его смерти два сына женились и построили еще два домика, дочь вышла замуж в другую деревню. Таким образом люди расплодились до тридцати человек и живут теперь в шести домах. Сначала они находились под управлением старших лиц в семействе, и к ним не заглядывало никакое начальство. Понятия их были такие: есть какой-то бог, а какой, и сами не знали, и только по преданиям своих отцов справляли свои праздники, молились чучелам. О существовании земли они знали только то, что земля дает пищу, да в землю покойников зарывают. Увидят они, что солнце ярко светит, и думают: это—бог, молятся ему; светит ли ночью луна,—тоже; бог—и дождь, и снег, и молния,—все бог. Знали они, что есть город Чердынь, только потому, что бывали там, а есть ли еще за Чердынью что-нибудь—дело темное. В городе они видели разных людей, но никак

не могли понять, что это за люди: этих людей они боялись, не верили им, и только ездили туда затем, чтобы сбыть необходимое для обмена на пищу. Но вот начальство заглянуло к ним, деревню их называли Подлипную, обложили всех их податью, стали брать по одному в рекрута, приехал к ним священник и стал уговаривать принять православную веру. Подлиповцы ничего не понимали, никого не слушали и хотели разбежаться, но трусили: приехал становой пристав, обласкал всех; подлиповцы смирились, испугались, исполнили все, что от них требовали. Сколько священник ни толковал им о Боге, они ничего не могли понять; хотя имели образа, но прятали их под лавки и вынимали, когда являлся священник; окрестившись, они из боязни стали отдавать крестить детей; венчались сначала по-своему, потом ехали в село к попу, везли к нему покойников... Ничего бы этого они не делали, да священник становым их пугал, а подлиповцы помнят станового, как он, когда в Подлипной умерло с голода шесть человек, обласкал не только мужчин, но и женщин, сам не зная, за что; а отрывши в лесу мертвое тело, увез трех главных стариков в село, потом в город, и с тех пор подлиповцы не видали своих стариков.

При своей бедности подлиповцы постоянно в долгу; с них требуют подати, но им негде взять денег, и на них растут недоимки с каждым годом.

Неужели они не умеют работать? Подлиповец, родившийся в Подлипной, проживший в своей деревне детство и имея взрослых детей, умеет делать то, чему научили его отец и родня: он умеет дом построить; но заставьте его, читатель, построить дом в городе, он вам построит так, что вы и посмеетесь над ним, и прогоните его. Отчего? Оттого, что подлиповец строил для себя дом по своему умению, собственно, с тою целью, чтобы ему была защита от холода, дождя. Понятно, ему никаких удобств не надо. А вы любите, чтобы дом ваш был теплый и существовал долго, чего подлиповец не сумеет сделать. Заставьте вы подлиповца печь скласть, он вам складет по-своему. У себя дома он сложит печь, как ему отец передал: — «Эй, ты, цуцело, подь тамока... Где каменя увидишь — волоки». Сын притащил каменя. До-

стали из ручейка воды, вскипятили, разварили с глиной.. «Мастюжь!»—кричит отец, и сам работает.—Через две недели печь готова, а через год она проваливается, нужно класть снова... Но растолкуй этим людям, как следует, по-человечески, что нужно делать, они примутся и сделают еще крепче городского мастера. В этом я ручаюсь. Есть в Перми один печник; он кладет печки дешево; но если склал, так печь и тепла всегда, и угара нет, и крепка. Его призывает только бедный класс, но богачи, само собой разумеется, надеются на архитектора и поправляют печки через пять лет, а некоторые и раньше. Господин этот из Подлипной, только подлиповцы думают, что он без вести пропал или его медведи заели. Он был работником у одного печника шесть лет, теперь семнадцатый год работает сам, без работников, и имеет в Мотовилихинском заводе свой дом.

Подлиповцев нельзя винить ни в чем: они глупы, необразованы, но кто их вразумит, куда они пойдут?.. «Уж помру, тошно, а тамока где уж!» Под этими словами можно понимать, что подлиповцам нравится своя деревня, а дальше, кто знает, что такое творится.—«Уйти из Подлипной? куда пойдешь?—Вон ушел из Подлипной Митюк Кавычка, еще молодой, и жену с двумя детьми оставил, да так и пропал. Поди тамока, и тютю!.. Пошел Терешка Вятка куда-то лес сплавливать и утонул, сказывают. Мишка Гайва ушел в город какой-то, да так и пропал»... Все это напугало подлиповцев до того, что они и замкнулись в своей деревне и живут по-своему, как живется: ведь растет же дерево, живут же лошади и коровы... Знают подлиповцы, что без жены неловко, надо бабу, и живут с бабами. Про идеальную любовь они вовсе не знают, у них своя любовь: играли вместе, вместе росли, вместе и жить надо. Так и делается в Подлипной. Умрет тот или другой, они хотя и думают, что так и надо умереть, но им обидно, досадно, что умер такой-то, что опять надо к попу ехать венчаться. О любви подлиповцев я расскажу в следующей главе. Досадно им: зачем это дети рождаются от них, и с маленькими детьми обращаются, как люди с котятами; одни только матери немножко присматривают за детьми: С пятилетнего возраста дети растут на произвол судьбы...

Подлиповцы говорят по-дермякски. Плохо понимая наши слова, они, хотя и выговаривают их, но в исковерканном виде. Выговор их походит на выговор крестьян Вятской и Вологодской губерний.

Ноябрь месяц в начале. Зима свирепствует немилосердно, как будто все зло свое хочет выместить над Подлипной и ее обитателями. Утро. Холод в тридцать градусов; ветер свистит по полю; деревья скрипят; верхушки их то и дело с шумом пошатывает направо и налево, и впрямь, и вкось. Ветер рыщет по полю и гонит снег, как на зло, к самым домам, до половины уже занесенным снегом. Дороги вовсе не видать,—она сравнялась с полем. Больше всего достается крайнему домику, без крыши, с одним окном, со слюдою в рамах, до половины заваленному снегом. Ветер так и рвет с домика, что ему под силу: вон доску, высунувшуюся с потолка, оторвало; вон посыпались высунувшиеся из-под снега камни, составляющие трубу; вон четверть крыши со стайки оторвало; вон и слюда треснула в одной раме,—пошел ветер гулять по избе... Ни одного человека не видно, не видно и животных, даже собаку куда-то спрятали... Но вот вышел из одного дома крестьянин, в полушубке из овечьей и телячьей шкур, в шапке из такой же шерсти с длинными ушами, в огромнейших собачьих рукавицах, в синих нанковых штанах и в лаптях. Он уже немолод: ему годов сороск.

— Эко диво!—сказал он, сторонясь от ветра. Ветер и стужа его злили.—Как пойдешь? Гли, што дается...—Он начал шагать, и тонул в снегу.—Эк, испугались! Врешь! Ишь ты, цуцело, околить бы те!..—Он плюнул.—Да будь, ты проклят, чорт!..—Крестьянин дошел до крайней избышки и вошел в нее. В избе холод страшный, ветер так и дует в окно сквозь раму; против окна снег на полу, на столе и на лавке. Изба очень бедна; кроме стен, стола, скамейки да одного худого лаптя, валяющегося среди пола, и небольшого корыта с корой и двумя большими ложками в ней ничего не видно... Только на полатах да на печке кто-то стонет.

— Эй, вы, цуцелы! Померли али нет?..

С полатей раздался стон.

— Ошшо живы!—сказал он весело.

— Пила, подь сюда!..—сказал с полатей мужской голос.

Вошедший, бросив на пол рукавицы, не торопясь полез на печь. На печке лежала старуха.

— Скоро помрешь?—спросил он ее с участием

Старуха стонала. На полатах лежал Сысой Степаныч Сысоев, прозванный по-подлиповски Сысойком. Ему 20-й год, но он худ и бледен. Он лежал в полушубке, в шапке, в лаптях и дрожал.

— Печку бы... пали, братан... А? Ишь, стужа, ветер!—говорил Сысойко.

— Ну, уж и времена!.. На картошки!—сказал Пила и подал Сысойке четыре печеных картофелины.

— Я тожно—беда. Нутро...—Сысойко хотел объяснить свою болезнь и разжалобить Пилу, но не умел. Вдруг он спросил Пилу:—А Апроська?

— Апроська помирает.

— А может, представляется?.. Не помрет?

— Кто ее знает. А канючит больно: подь, бает, к Сысойку, снеси картошки, да пусть, бает, придет молочка потрескать.

— Ох, не говори,—не могу,—моченьки нет... стонет Сысойко.

Пила молчал. Ему жалко было Сысойку и его мать, которая была больная, слепая и сумасшедшая.

— Истопить уж печь-ту! А где ребята-те?..

Пила слез с печки.

— В печке,—сказал Сысойко.

Пила подошел к окну, стал сгребать рукой снег с полу; постоял у окна,—ветер дует: надо бы заткнуть, а чем? ничего нет такого. Он взял с полу лапоть, приладил его в раму; а ветер все дует.

— Нет ли чего затыкать-то?

— Нету, братанко,—сказал Сысойко.

— Да хоть рукавиц, што ли, дай!

— Жалко!..

— Чорт!! успеешь околеть-то... Боров! лежать бы все... Чуча!

Сысойко сбросил с полатей рукавицы и шапку. Пила затыкал ими раму; ветер перестал дуть, зато в избе темно сделалось.

Пила пошел на улицу; ветер все дул. Пила отскреб немного снега от окна рукавицами и пошел искать дров около стайки, в которой лежала лошадь, не евшая ничего два дня. Пила долго удивлялся ветру: «Экой какой, сила какая!.. Эвон что разворочал». Он достал с потолка стайки сена и соломы, снес их лошади.

— Ужо я овсеца тебе принесу... Скотинка ты, скотинка жкая!—жалобно говорил Пила, смотря на лошадь, как она принялась охобачивать сено и солому.

Гаврило Гаврилыч Пилин, по-подлиповски Пила, был человек добрый, пробойный и работящий. Он один из подлиповцев понял, что, ничего не делая, жить нельзя; он как-нибудь старался приискать себе работу, сбыть ее, а главное,—услужить своим подлиповцам. Назад тому год Пила постоянно стрелял дичь и сбывал ее в городе, хлеб у него водился; но как-то раз утопил ружье в реке, сам простудился и, пролежав два месяца, обеднел до того, что ему с семейством привелось есть кору, а корове и лошадям вовсе нечего было есть. Оправившись после болезни, Пила насобирал у подлиповцев наделанных кадок, кузовков и лаптей, отправил за больных продавать в селе и городе. У Пилы в городе был знакомый хозяин постоянного двора, и он через посредство его находил себе покупателей. Он и раньше возил вещи, но теперь постоянно стал заставлять подлиповцев работать, и для него ничего не значило съездить за сто верст: он одну половину денег отдавал крестьянам или покупал муки, а другую брал себе и покупал для себя пищи. Если в городе ничего не покупали, Пила шел собирать ради Христа и потом делился с подлиповцами. Своим подлиповцам он помогал, чем только мог. Бывало, скажет подлиповцам: «Чего сидите, робь; я буду робить»,—и подлиповцы работают с Пилой; нет Пилы, подлиповцы лежат. Скажет подлиповцам: «Смотри,

траву надо косить»,—здоровые идут косить, а не скажи Пила, что надо траву косить, и подлиповцы не догадаются. Все подлиповцы любили Пилу, и каждый спрашивал его совета или просил полечить, так как Пила лечил больных травами, хотя сам не понимал никакого толку в травах. Мысль лечить травами пришла ему в голову тогда, как он увидал в городе крестьянина с травами. Пила не понимал, для чего крестьянин травы продает.—«Это што?»—спросил Пила крестьянина.—«Это—лекарствие».—Слово [«лекарство» для Пилы было новостью; ему показалось, что это что-то баское.—«А как это делают?»—спросил он крестьянина.—«Да так. Коли-кто захворает, ну и пьет траву, коя идет на такую болезнь. Тут всякие есть: затрясет тебя, лихманка забьет, брюхо заболит, ну и лечатся такой травой».—«Лиже ты! А где они растут?»—«В лесу да в болотах»... Вот Пила и стал собирать летом в лесу да в болоте разные травы с цветочками, вырывал с кореньями и лечил подлиповцев. «Ну-ка, съешь эту травку, хворать не станешь»,—говорил Пила больному. Больной ел, и ему становилось либо лучше, либо хуже, и все-таки все просили у Пилы травы. Пила давал, не требуя за это ничего. Священник требовал, чтобы крестьяне непременно крестили детей, везли в село умерших, венчались: первое подлиповцы не исполняли до тех пор, пока священник не приезжал сам за сбором; за умерших они боялись и везли все покойника в село; свадьбы венчались редко; подлиповцы жили до тех пор, пока опять не приедет священник за сбором; а как приехал,—беда: «Возит с собой штуку какую-то (метрическую книгу) и давай считать да пугать—беда!»—говорят подлиповцы и едут венчаться в село, но только с Пилой. Причт просит денег либо масла за свадьбу, и Пила пойдет собирать ради Христа, жениху и невесте велит то же сделать, и, насобирав чего-нибудь, идут к причту. Все подлиповцы удивлялись Пиле, как это он всегда успевает, все умеет сделать, всегда весел и редко хворает, даже и с семьей его ничего не делается. Поэтому его прозвали колдуном и боялись. Пила никогда не был колдуном, но слово это его забавляло.

Пила уж третью неделю не выезжал из деревни. Все

подлиповцы сделались больны от мякины и коры; продать нечего; дочь Пилы, Апроська, тоже захворала, жена его, Матрена и парень Иван третьи сутки не встают. Пила не знает, что и делать, кому и как помочь,—травы его не действуют; надо бы купить муки, да уехать Пила боится: как да все без него помрут? Наконец, и у Пилы не стало муки, и он принялся мешать в мякину кору, и его тошнить стало. Хорошо еще, у него картофель есть, да корова дает немного молока: для себя достает, а если другим уделишь,—у самого ничего не будет.—«Экая беда», думает Пила. «Что теперь делать,—не знаю. Уедь я,—все помрут, и Апроська, и Сысойко»...

Жена Пилы, Матрена была такая же, как и прочие подлиповские женщины, часто хворающая, но несколько крепче прочих: она скоро выздоравливала. Работы у Матрены никакой не было, кроме того, что она доила корову. Она спала и во всем надеялась на мужа. Пила на нее смотрел, как на какую-то потребность; часто возил он ее с собой в лес и в город, приучал к какой-нибудь работе, но Матрена ничего не хотела делать, за что Пила бил ее во время своей злости, как лошадь, чем попало.

Все дети их—Апроська 19 лет, Иван 16, Павел 14 и Тюнька 3 лет—росли на произвол судьбы. Апроська была некрасивая девушка, худая, часто хворающая, ничего не делающая, как и мать. Отец бил ее, Ивана и Павла, как и свою жену, за то, что ему не нравилось; но Апроську Пила любил как будто даже более, нежели дочь.

У Апроськи на 17 году был ребенок, но ребенок этот не дожил до приезда священника, и когда он умер, его зарыли в лесу. Теперь отец знал, что Апроська опять скоро родит, и знал, что ребенок будет от Сысойки...

На Ивана и Павла Пила смотрел, как на работников, не позволял им сидеть даром, не верил их болезням. «Какая хворость вам, эким парням? Я вон прежде не хварывал», говорил Пила, когда парни лежали. Жалость к детям у Пилы была только тогда, когда они уже ревели от боли. Пиле казалось неприятно это, жалко было ребят, потому что он бы мог заместиться ими, и в то время он кормил их

больше, насильно заставлял есть травы. Павел и Иван были забитые парни, умели нарубить дров, знали дорогу в село, но в городе никогда не бывали. Брат с братом жили так дружно, что никогда не расставались, работали вместе и старались отличаться друг перед другом. Начнет Иван плести лапоть, Павел тоже плетет лапоть и дразнит брата: «Уж тебе где смастюжить! То ли я! Смотри, как!»—«Эй, Пашка, не дразни! Ты смотри, как я делаю». Часто Пила посылал парней понаведаться к какому-нибудь подлиповцу; братья ходили вместе и проводили весь день в гостях. Если кто-нибудь работал, братья высматривали работу и дома старались сделать так же; если работы были обыкновенные у всех, они делали тут же, передразнивая и смеясь над девками и мужиками. С молодыми девками они обращались запросто, как с своей сестрой: передразнивали, щипали их за бока, ругали. Это была их любовь. Пила поговаривал женить Ивана и сговорил ему одну девку, Агашку. Иван стал ходить к отцу Агашки по научению Пилы, которое заключалось в следующих словах: «Дубина ты, как я погляжу, не знаешь-што баско... Пора тебе с бабой жить»...

— А пошто?

— Дурень ты! Говорят, будет баско.—Ивану казалось смешно, он чего-то пугался, однако, скоро уже постоянно ходил к Агашке. Эта любовь продолжалась полгода. Павел, узнав от брата, что с девкой жить хорошо, тоже нашел себе девуку.

Сысойко живет рядом с Пилой, и дома их не отделены друг от друга даже плетнем. Сысойко был самый бедный в деревне и редко бывал здоровым. Отец его ходил на медведей с чугунным ломом и брал его с собой. Но медведей было мало, так что в год они убивали много медведя три. Мясо медвежье они ели, а шкуру продавали в село за дешевую цену. Тогда, при отце, можно было жить, но вот уже два года, как отца загрыз медведь, а Сысойко, бывший с отцом, хотя и убил этого медведя, но медведь исцарапал ему плечо. Сысойко едва-едва дошел до своей деревни, сказал о беде Пиле и вместе с ним повез отца в село, захвативши с собой и убитого медведя. Священник не стал хоронит

отца Сысойки, а почему-то призвал станового пристава. Становой привязался к Сысойке и Пиле, говоря, что не медведь загрыз отца Сысойки, а они уходили его и только для формы привезли медведя. Становому хотелось взять себе убитого медведя и он взял-таки его и попросил священника отпеть покойника. С той поры Сысойко живет очень бедно: в лес бить медведей не ходит, стрелять дичь пороха нет, продавать кадки и прочее не стоит, да и Сысойко умел только лапти плести. И вот Сысойко помогал в чем-нибудь Пиле, то-есть вместе с ним искал лекарственную траву, ездил по нужде в село и в город, за что и пользовался от Пилы подачками, хлебом и мясом; но так как он часто хворал, то и не мог всегда бывать с Пилой, и Пила навещал его. Пила и Сысойко так привыкли друг к другу, что по целым дням проводили вместе, ничего не делая, а лежа; если Пила хворал, а Сысойко был здоров, Сысойке казалось, что и он хворает, и наоборот. Пила и Сысойко в болезнях всячески старались угодить друг другу, а если Сысойко был здоров, то целую неделю жил у Пилы и спал на полатах с Апроськой.

Сысойко и Апроська росли вместе, но тогда у них были только детские отношения; такие же отношения были и тогда, когда Сысойке было 18 лет, а Апроське 16, но скоро они уже изменились. С первого же времени молодые люди привязались друг к другу—обоим им было скучно, когда они не видели друг друга по неделям, а потому часто навещались друг о дружке у Пилы и сходились—или Сысойко в доме Пилы, или Апроська в доме Сысойки.

Сысойке страшно опротивела жизнь в своем дому: каждый день и даже ночь ревели его маленькие брат Петр 4-х и сестра Пашка 2-х лет, которые мерзли с холоду и постоянно голодали. Эти маленькие дети, не умеющие еще выговаривать и ходить, постоянно лежали или сидели полунагие, одетые в несколько тряпок, сшитых наподобие мешков. На них не обращалось внимания ни Сысойком, ни матерью, которая, больная и сумасшедшая, постоянно лежала на печке и охала. Куда Сысойко ни посадит детей, там они и сидят, там и ползают. А если Сысойко садил их на полати, что случалось очень редко, то ребята то и дело получали колотушки. Он

даже нарочно садил их на голый пол для того, чтобы они скорее умерли, нарочно не давал есть, думая, что они помрут; но ребята кричали с каждым днем хуже. Сысойко злился, хотел их пришибить чем-нибудь, но ему было жалко, он чего-то боялся... Пила жалел детей и всегда приносил им что-нибудь; при появлении Пилы дети начинали плакать и махали ему руками. Сысойко, когда бывал здоров, по неделе не заглядывал в свою избу, а терся у Пилы или где-нибудь с Пилой; о сестре и брате и, наконец, о своей матери он не думал в это время; он рад был, что наконец-то нет их, не слышатся крики, не ворчит и не охает старуха.

Хотелось Сысойке жить у Пилы; да Пила говорил: «Нет, бат, изба моя махонькая, куды же я тебя пушу с ребятами и матерью?»

Да я один,—напрашивался Сысойко.

— Уж не говори. Те ребята-то все же брат да сестра. Ну, да хоть помрут, не жалко, а мать-то? Он, бат, родила тебя.—«А ты лучше живи там, да сюда ходи»,—заметила Матрена.

Сысойке еще хотелось жить одному с Апроськой да с Пилой. «С Апроськой баско, Пила хлеб носит»,—думал Сысойко. Но где жить? В своем доме нельзя—мать и ребята; Пила не пускал, да у него жена и дети. Долго Сысойко ломал голову на этот счет, да ничего не выдумал. Пила тоже думал: как бы устроить, чтобы Сысойке было лучше. Хоть и жаль Апроськи, и надо же жить с Сысойком, потому что поп так велит *), да и от Апроськи будут дети рождаться, но где жить? Жить в его доме нельзя, потому что у него свое семейство; парни, того и гляди, приведут в дом по девке, а как поп велит им жениться, то и самому тесно будет. Отдать Апроську Сысойке, чтобы она жила в Сысойковом доме, там мать сумасшедшая, ребята ревут маленькие. Но до того, чтобы выстроить Сысойке избушку, Пила не додумался. Он на том и решил: уж пусть живут так, как теперь; а как помрет старуха Сысойкова да маленькие ребята, тогда и можно Апроську Сысойке отдать. А поп приедет, ну, и венчать

*) То-есть велит венчаться.

можно. И ребята пойдут от Апроськи, все же лучше, опять к попу можно съездить. «Только те не помирают. Уж померли бы скорее, пользы-то от них нет, только мука одна»,— думал про себя Пила и сообщал об этом Апроське и Сысойке, которые с своей стороны тоже соглашались в этом мнении с Пилой, и стали ждать да ждать, чтобы те умерли...

Пила принес в избу Сысойки охапку дров. Бросив их на пол около печи, он заглянул в печку. Там лежали мальчик и девочка нагие.

— Эй вы, лешие! Вылезайте!.. Спалю тожно...— кричал Пила.

Из печки не слышно было ни голоса, ни движения.

Пила потащил из печки за ногу мальчика. Мальчик был мертвый.

— Ишь ты!—сказал Пила, и стал щупать мальчика.— Помер.

— Кто?—спросил Сысойко.

— Парень.

— Ну, и ладно... А девка-то?—спросил Сысойко, и высунул голову с полатей.

Пила вытащил за ногу и девочку. Она была мертвая. Левый висок ее был чем-то проломлен; лица ее незаметно было: все оно запеклось от крови, и на нем засох мусор от пчки.

— Сысойко, гли (смотри)!

Сысойко плохо видел с полатей.

— А што, померла?

— Слеп ты, што ли? Гляди, убита!..

— Вре?

Пила положил мальчика и девочку на лавку и долго смотрел на них жалобно.

— Слышь, Сысойко? Гы убил девку-то?

— А пошто?

— Право, ты?

— Цуцело ты, Пила! Што я медведь, што ли, эк ты!— Сысойко не стал и говорить больше, а спрятал голову в полушубок.

Пила нащепал березовой лучины, достал на трут крем-

нем огня, зажег лучину и стал смотреть в печку. В ней лежал большой камень, отвалившийся с неба печки. Теперь Пила понял, что не Сысойко убил девку, а этот камень сам отвалился. Только как же на парня камень не упал, а на одну девку?..

— Смотри-ка-сь, экой камень-то!—сказал Пила Сысойке, показывая ему камень.

Сысойко посмотрел и разинул рот от удивления, но ничего не сказал.

Пила склал в печку дрова, зажег. В избе сделалось светлее.

Пила опять подошел к ребятам. Жалко ему стало ребят. «Ох, голова-то как раскроена... Мальчонки, мальчонки! Жить бы вам долго, да што жить-то? Лучше, как померли. Вот, Сысойко, и померли ребята!..»

— Померли. Теперь я к тебе пойду.

— А мать?

— Помрет.

В это время простонала на печке старуха и что-то несвязно пробормотала. На это ни Пила, ни Сысойко не обратили внимания.

Пила стал рассуждать, что делать с ребятами. Зарыть их так—поп узнает, и тогда беда; ехать к попу—будет денег просить... Пиле хотелось ехать в село; у него не было хлеба, и он ждал только удобного случая ехать туда. Случай этот выпал—везти хоронить детей.

— Ну, пошто ребят туда везти? Зарыть бы здесь в лесу, так нет ишшо, деньги давай,—сердился Пила.

— Ты не вози,—сказал Сысойко.

— Ишь ты! Как наедет—лучше будет? Нет, уж свезу. В избу прибежал Павел.

— Апроська зовет! Ись, бает, хочу.

— А ты што? Нету, што ли, картошки-то?

— Молока просит.

— Поди, подой корову-то

— Я доил, да нету, молока-то.

Пила ушел в свой двор. Стал донть корову, у той не было молока.

— Родить тожно хочет,—сказал про себя Пила.

Пила ушел в свою избу. В его избе было немного чише и светлее. Отсутствие одежды и других вещей здесь было такое же, как и у Сысойки. На печке лежала Апроська, некрасивая, худая девушка. На полатах сидели Матрена, Иван и Тюнька. Все они ждали молока. Матрена жевала картофель.

— Ты ушел и утонул; дома хоть помирай...—ворчала Матрена.

— Чево помирай! Вон ребята Сысойковы померли... Сысойк, гляди, помрет, а старуха уж поди теперь померла.

— А Сысойко? хворат?—спросила Апроська.

— Сказано, помират.

— А молока принес?

— Где возьму? Вон корова-то родить тожно хочет, нету молока-то.

Матрена заворчала.—Уж у тебя все так. Когда я дою, всегда молоко есть... Уж изленился ты совсем.

— Я те, стерво! Поворчи, што я тебя не отщепая!

Пила ушел из избы рассерженный. Он вошел в третью избу, к соседу Морошке. Морошка был нездоров, нездоровы и дети. Жена его плела лапти.

— Нет ли продать чего?—спросил Пила жену Морошки.

— А ты в город?

— В город. Вон у Сысойки ребята померли; надо к попу везти.

— Ладно. Вон тамо лапти складены, возьми.

Пила взял две пары лаптей и пошел домой.

— Нет ли у те травки?—просила жена Морошки.

— Как нету!

— Дай, родной!

— Ну, погоди, Пашку пошлю... А Агашка как?

— Ой, и не говори!

— Ванька у меня тоже... Вон с Пашкой ничего не делается...

Иван был жених Агашки.

На другой день Пила сделал ящик в виде гроба, положил в него два маленькие трупа, завернутые в мешки, зашил ящик досками и повез на дровнях в село вместе

с двумя парами лаптей и тремя берестяными бураками от Морошки.

В село Пила приехал ночью. Переночевав у знакомого крестьянина, он утром отправился к священнику. Известно, что в сельских церквях служат только по воскресеньям и в большие праздники. Так и теперь церковь была заперта, и к ней не было даже дороги проложено, т.-е. незаметно было следов человеческих с дороги. Священник долго не соглашался хоронить детей. Пила несколько раз ездил к нему, и вот уже в пятый раз приехал к нему. Священника это просто до слез проняло.

Он стал надевать худенькую с заплатами рясу.

— Вот что, Пила: ты в пятый раз ко мне приехал, а ничего не привез. Смотри, у меня на ногах-то лапти!

Священник был в лаптях. Пила в этом не видел ничего удивительного; ему смешно показалось.

— Тебе смешно, а мне плакать хочется. Вот уж шестой год живу здесь, а ничего не приобрел. Просил, чтобы перевели, да выговор получил.

Пила плохо понял.

— Так мне надоело житье с вами! Уеду я-таки от вас.

— А ты уедь, право! — сказал Пила.

— И уеду.

— А ты теперь уедь.

— Не пускают. Да и что толку в том, что я уеду! Пошлишь другого на мое место, и тогда вам хуже будет.

— Ишь ты. А ты не поедешь?

— Не пускают.

Священник кликнул дьячка и послал его с Пилой в церковь.

— Ну-ко, Пила, открой гроб!

— А пошто?

— Так нельзя.

— Да ты уж совсем зарой, а то земля-то в глаза насыплется.

— Ну, открой. Тебе говорят, нельзя так. Кто тебя знает, что ты привез тут.

Пиле обидно стало.—Цуцело ты, как я погляжу! Сказано, Сысойковы ребята.

— Хочешь, станowego призову?

Пила струсил и открыл топором одну доску.

— Ты другую открой.

Дьячок раскрыл олин мешок. Мальчик лежал лицом кверху, дьячок осмотрел его всего—мертвый. Жалко ему стало мальчика. Раскрыл другой мешок. Девочка лежала на животе. Стал и девочку осматривать дьячок и, как взглянул на лицо, с ужасом отступил.

— А, так ты так-то хочешь нас провести! Что это такое?

Пила испугался.—Батшко, не я!..

— Врешь! Кайся, разбойник!

— Ты не кричи, эк испугались! Медведей бивал!

— Так ты еще запираешься? Сейчас станowego призову.

Пила повалился в ноги.—Батшко, не губи!.. Камнем девку-то пришибло в печке! Што хошь возьми... не губи...

— Рассказывай, как было!

Пила рассказал все. Дьячок верил и не верил. Он стал еще смотреть на лицо девочки: кажется, и камнем из печки пришибло, кажется, и другой кто-нибудь убил. Он затгулся: говорить Пиле или нет?

— Не верю я тебе; я пойду к становому.

— Батшко, не губи! Я те все сказал... Што я, зверь, што ли?.. Сысойко хворат, старуха тоже... А эти в печке дрыхнули... Я так и увидел камень на лице-то.

— Целуй крест!

Пила поцеловал.

— Клянись, что не ты убил.

— Эх ты! Я вон и Сысойка спрашивал, он заревел только, жалко стало. А ты говоришь: убил, убил!.. Эх ты!.. Я вон только восемь медведей убил...

Дьячок опешил. К подобным выходкам он уже привык.

Пила опять повалился в ноги.—Не погуби, батшко!

Через два часа Пила вез в Подлипную на своей и поповской лошадах, запряженных в поповские сани, попа и дьячка.

Дорогой в Подлипную Пила долго ругался. Священник с дьячком рассуждали, как поступить с подлиповцами: никакие страхи их не берут и веровать-то они по-христиански не хотят...

Наконец, приехали в Подлипную. Священник и дьячок вошли в избу Пилы и взлезли на полаты, потому что в избе было холодно, да к тому же они хорошо прозябли. У дьячка был в запасе бурак с водкой. Семейство Пилы осталось на печке. Апроське было немного легче, но она все лежала. Иван все хворал, Матрена ходила.

— Ну-ко, Матрена, дай нам закусить,—просил священник.

— Да что я тебе дам-то? Хлебушка нет, молока нет. Кору нынче едим...

— Пооди, посбирай в деревне.

— Где уж, там ни у кого нет хлебушка. Вон Пила не привез ли...—Пила, действительно, привез две ковриги хлеба и несколько фунтов муки. Пила распрягал лошадей, ругая дьячка. Павла он послал к подлиповцам. «Беги ко всем, скажи: поп, мол, наехал»... Павел ушел и сделал так, как велел Пила. У подлиповцев до сей поры все образа были где-то на полатах; теперь Павел поставил их на полки в передних углах.

Пила принес в избу хлеба, отрезал несколько ломтей и роздал священнику, дьячку и своему семейству. В несколько минут одной ковриги не стало.

— Ты, тятка, снеси Сысойку-то!—просила Апроська Пилу.

— Эй ты, Пила! хошь водки?—кричал с полатей дьячок, уже опьяневший.

— Давай.

Пила хлебнул из бурака.

— Ну, пойдем к подлиповцам,—сказал священник, слезая с полатей.—А ты, девка, все еще не замужем?—спросил он Апроську.

— Нет, батшко.

— То-то смотри. Найду ребят, бела тебе будет!

— Ужо тепле будет, повезу ее,—сказал Пила.

— Ты давно мне говоришь. С кем ты ее хочешь свенчать?

— А с Сысойком.

— То-то. Ну, пойдем.

Пила повел священника и дьячка к Сысойке. С собой он захватил полковриги хлеба. Сысойке было легче, но он все еще лежал. В избе холодно и темно.

— Зажигай лучину!—командовал дьячок.

Лучину зажгли.

Священник стал смотреть в передний угол: есть ли икона.

Икона была.

— Эй вы! Отчего никого нет?—кричал дьячок.

— Да больны они, больно больны,—сказал Пила. Сысойко спрятался в угол на полатах и молчал. Мать его по-прежнему стонала.

.....

Переночевав у Пилы, священник и дьячок поехали в село. Пила ехал за ними на дровнях; за дровнями шла Пилина корова с веревкой на шее.

Как ни горько было Пиле вести корову в село, но он, из боязни, чтобы не погубил его становой, решил-таки отдать ее. «Ужо, как помрет Пантелей, возьму его корову себе. А не помрет, из другой деревни уволоку», думал Пила.

Матрена, как Пила стал привязывать корову к дровням, поленом ударила Пилу, дьячка обругала, как только могла, и, может быть, убила бы Пилу за корову, да у нее силы не было: Пила и дьячок до того избili ее, что она едва-едва добралась до своей избушки. Матрена больше всего в своей жизни любила корову. Корова для нее была больше, нежели дети: дети ей ничего не давали, а корова снабжала всю семью молоком и летом не просила есть, а питалась в лесу, сама находила пищи для себя; только зимой Матрена наваливала ей сена каждое утро. А теперь как она будет жить без коровы?..

Пила приехал в село вечером. Заплакал Пила, как заперли его корову в чужую стайку. Хотел он увести корову ночью, да двери стайки были задерты. На другой день от-

пели умерших, а Пила с церковным сторожем едва-едва сделали на кладбище маленькую ямку и свалили туда гроб, потом завалили яму землей и снегом. После этого Пила пошел к дьячку просить денег. Дьячок сжалился над Пилой, дал ему пятнадцать копеек серебром. Пила был очень доволен этими деньгами и даже повалился в ноги.

Выйдя из двора дьячковского, Пила долго стоял у своей лошади. Его сильно давило горе. Он лишился коровы, которая кормила его. Как он теперь без коровы будет жить? Как семья его пробьется до лета? Не корова бы, что бы было с ними?.. Пиле все теперь опротивело, проклял он свою жизнь, долго бил свою лошадь, сам не зная, за что; сел на дровни, стегнул лошадь, лошадь пошла по улице. Пила не знал, куда ехать, и пустил лошадь на произвол. Лошадь дошла до лесу. Дорога вела в деревню. Пила не поехал в деревню, а поехал в город.

В городе Пила шатался две недели. Жил он подаяньем добрых людей. Придет в дом, попросит ради Христа, ему дают, кто ломтик хлеба, кто грошик. Ломтей у Пилы накопилось много; деньги шли на водку. Хотел он купить на рынке корову, да просили десять рублей. Видел он и дьячка своего сельского, тот сказал ему, что корову он подарил по начальству. Узнавши, где корова, Пила две ночи сряду ходил к воротам нового ее хозяина, да все ворота заперты; перелез он и через заплот, да и там не нашел коровы, а зарубил топором двух свиней и, перебросив их через забор, увез в лес и там зарыл в снегу.

Пила собрался ехать, как увидел около питейной лавочки толпу мужиков: зырян, вотяков, пермяков и крестьян Вологодской и Архангельской губернии. Пилу любопытство взяло, и он спросил одного из толпы:

— Что, ребя?

— Ништо,—сказал один крестьянин.

— Ты откедова?—спросил Пилу другой крестьянин.

— А подлиповец! А вы-то?

— А мы бурлацить.

— Лиже! А пошто?

— Бают: баско, богатство, бают...

Пила задумался. Каждую зиму он видел около этого кабака толпу мужиков, каждую зиму он слышит, что они идут бурлачить, богачество, бают, от бурлачества получают. Прежде Пила не верил мужикам, говорящим про богачество, и не спрашивал, что такое бурлачество; теперь ему опротивела жизнь, мужики раззадорили его: не лучше ли бурлачить?—спросил сам себя Пила. «А Сысойко?.. а Апроська? Чу их к лешим и с бурлачеством!..» Апроська показала Пиле милее бурлачества... «Уйди там, а куда?.. Ну, уйди—и тю-тю»... думал Пила. Однако, он снова подошел к бурлакам.

— А вас много?

— Не все ошшо.—Их было человек тридцать.

— А далеко?

— Далеко.

— А што робить?

— Плыть.

— Э! А скоро итти-то?

— Скоро.

Пила ушел от бурлаков и поехал в Подлипную. Дорогой он думал: «Итти в бурлаки, или нет? Бурлачество, бают, хлеба много... А в деревне што! Тот болен, другой помирает, третьего везти хоронить надо. Эх!.. Надоела эта жизнь!.. Дай, пойду в бурлаки... Надоели подлиповцы: пусть помирают, мне не пособить. Только выздоровеет Сыссыко и Апроська, возьму их с собой»... Пиле эта мысль хорошою показалась, он захохотал и решился во что бы то ни стало, уйти с Апроськой и Сысойком бурлачить, сам не зная, что это за дело такое, теряя в слово богачество и в надежду иметь всегда много хлебушка... «Уйду же я, уйду! Уж не поклонюсь боле никому, не дам коровы. Что я без коровы-то? Вон везу две свиньи, да что толку—неживы. И станового теперь не боюсь».. При мысли о том, что он будет бурлачить, Пила чувствовал какую-то легкость, свободу, удовольствие и никого не боялся.

До Подлипной Пила ехал четыре дня. Ночи он спал в деревнях. Каждую ночь ему мерещилось бурлачество, или он идет куда-то на гору с Сысойком, Апроськой и всеми подлиповцами. Сердится Пила: зачем это прочие подлиповцы

идут, зачем и Матрена тут, и старуха Сысойкова тут?.. Идут они долго-долго, все гора, и конца нет. Вот один свалился с горы, за ним другой и прочие, и Пила в страхе кричит и пробуждается. «Не дошли»... ворчит Пила и силится заснуть, чтобы увидеть что-нибудь получше—хорошо ли бурлачить... Ему опять кажется: опять он с своим семейством и подлиповцами на поле, и все рубят дрова. Рубят, рубят, а дров нет... Где же Сысойко и Апроська?.. Жалко стало Пиле, стал он искать их, нашел: лежат в подлиповском болоте мертвые—медведем изгрызены... Заплакал Пила, заревел... Проснулся, на глазах слезы... Живы ли Сысойко и Апроська? Сердце дрогнуло у Пилы: «А что, если померли?..» Пила не мог придумать, что будет с ним, если помрут Апроська и Сысойко. Он только и придумал: «А пошто я-то не помру? Я-то на што живу?..» В первый раз в жизни Пила почувствовал сильное горе. Его мучила не корова, а Сысойко и Апроська...

Мысль о Сысойке и Апроське всю дорогу мучила Пилу, всю дорогу он не находил покоя. Зол сделался Пила, и боялся он приехать в деревню, точно в ней сто медведей засели...

Приехав в деревню, Пила прямо отправился к Сысойке. Домой он побоялся притти. В избе было темно и холодно, не слышно ни звука, ни шороха... У Пилы сердце дрогнуло.

— Али померли?—сказал Пила.

Пила не получил ответа. Хотелось ему удостовериться залезши на полаты, да боялся Пила. В первый раз в жизни Пила побоялся покойников. Однако, Пила залез на печку. Там лежала мать Сысойки. Пила заглянул на полаты, никого нет. Полегче сделалось Пиле: «Теперь Сысойко у меня... мать, верно, померла»,—сказал он весело. Стал он щупать старуху: старуха холодная, не дышит, лицо зелено-красное, глаза открыты, так строго смотрят... Пила струсил старухи, соскочил с полатей, плюнул на печку и убежал на улицу... «Иишо загрызет, стерва», ворчал Пила.

В свою избу Пила вошел весело. Как только он вошел, на него закричала Матрена:

— Што, дьявол!.. Всех нас уморить, што ли, захотел?.. Вон Апроська-то померла!..

Пилу как обухом кто ударил по голове, он рот разинул и тупо смотрел на печку, где сидел Сысойко, бледный и такой сердитый... Жена все ворчала:

— Ишшо не околел ты, чорт!?. Другие мрут, а ему и смерти нет!

Пиле горько сделалось. Ударил он жену и полез на печку. На полатах лежала Апроська. Она была такая же, как и две недели тому назад, только не дышала. Пила не верил, что она умерла; стал он ее толкать, она не шевелится... Взял Пила, убежал на улицу, забрался в стайку и долго там плакал... В стайке спали Павел и Иван. «Помру ли я?» спросил сам себя Пила. «Уйду отсель! уйду!».. закричал он, и вышел из стайки. Пила хотел ехать, но ему жалко стало Сысойки, да и что делать с Апроськой? Везти надо ее, опять надо к попу ехать...

Пила вошел в свою избу. Матрена выла на печке, Сысойко дико смотрел на Апроську. Он не плакал, а видно было, что его страшно мучило горе. Он любил Апроську сильно, хотел с ней всегда жить; вот умерли ребята его матери, умерла и мать. Зачем же Апроська померла? Он-то зачем не помер? Дик и зол сделался Сысойко, теперь он походил на собаку, лишившуюся своего детища, он готов был, Бог знает, что сделать, только бы Апроська была жива, готов был помереть, но не знал, как помереть...

Пила так же мучился, как и Сысойко. Он сел с Сысойком на полаты и долго смотрел на Апроську, потом вскричал: «Апроська!..» Апроська не двигалась. Пила заревел, заплакал и Сысойко. Долго плакал Пила, да не помог слезами горю. Он опять вышел на улицу, сел на крылечко и стал думать... Сначала ничего он не придумал, все Апроська мучила его; потом ему опротивела своя изба, вся деревня. Пила вскочил, как бешеный, и сказал сам себе: «Что я за чучело? Что мне жить-то? Пойду из Подлипной, наплюю на их всех... Без Апроськи что за жизнь?» Он вошел в избу.

— Сысойко! айда отсель! Пойдем бурлачить!

— Не пойду.—Сысойко еще не верил тому, что Апроська

умерла. «А может, она так»... думал он.

— Э, дура голова! Пойдем! Бурлачество—баская штука, богатство получим, а хлебушка зво! ужаси!..

Сысойке не хотелось итти. Пила стал уговаривать его; Сысойко только ругался.

— Ну, и околевай, чорт! Я один пойду, ребят с собой возьму.

Пила стал думать, что теперь делать с Апроськой. Матрена ругается за корову, говорит: вези опять, отдай лошаадь... «Ну, уж теперь с меня он шиш возьмет!» Однако, он все-таки решил везти Апроську и мать Сысойки к попу... «Коли просить чего станет, я и к набольшему его пойду... Бает, у меня начальство есть»...

На другой день по приезде в Подлипную он принялся делать гроб с Сысойком, Иваном и Павлом. На третий день они уложили в гроб мать Сысойки и Апроську в такой одежде, в какой они умерли. На обеих их были худенькие полушубки, худые лапти; Сысойко надел на руки Апроськи свои рукавицы и положил ей на грудь ковригу хлеба. В этот же день Пила с женой, детьми и Сысойком, положив гроб на Пилины дровни, отправились в село. Гроб был прикрыт досками и обвязан веревкой. На нем сидели Пила и Сысойко. На Сысойковых дровнях, запряженных в Сысойкову лошадь, ехали Матрена, Павел, Иван и Тюнька.

Дорогой Пила уговаривал Сысойку итти бурлачить. Сысойко ругался и, наконец, поняв, что в деревне ему тошно жить, согласился итти с Пилой туда, где хлеба много. Только как же без Апроськи?

— Уж не воротишь. Жалко, а нешто делать,—говорил Пила, вздыхая.

— У, Апроська! стерво ты... леший!..—вскричал со злостью Сысойко. Ему слишком было обидно, что Апроська померла.

Священник удивился, когда увидал перед своим домом подлиповцев.

Этот день был теплый, каких в этом краю мало бывает зимой. Солнце грело, с крыш капало, ветру не было. Пила подумал, что лето скоро.

— Гли, Сысойко, солнце-то! — говорила Пила, весело указывая на солнце. — Лето тожно скоро, а жить как баско?

Сысойку это не порадовало, а возмутило. Он все думал об Апроське.

— А пошто она издохла?.. Пошто? — вскричал Сысойко.

— Пошто? — спросил и Пила, и ему тоже обидно сделалось.

Вышел священник.

— Ну, что, братцы?

— Што! Знамо што... — сказал Пила с сердцем. — Он и Сысойко теперь походили на зверей. Вокруг них собралось много крестьян, которым Матрена и Павел толковали, как померла Апроська, и которые жалели и умерших и Матрену.

— Кто опять умер? — спросил священник.

— Кто? Как бы не ты, жива бы Апроська-то была... — ворчал Пила.

— Ну полно, Пила... Она теперь покойная...

— Знамо... Зажмурила шары-те. От того и померла...

Крестьяне, между тем, с участием расспрашивали Матрену и Сысойку, отчего умерла Апроська.

— Ступайте в церковь, я сейчас буду. — Священник ушел к становому, крестьяне по своим домам, а Пила и Сысойко поехали к церкви. Церковь была отперта сторожем. Поставивши гроб среди церкви, Пила и Сысойко с Павлом и Иваном отправились на кладбище.

— Неужели тут все люди? — спросил Сысойко.

— А кто не то. А ты помнишь, где отец-то твой лежит?

— Кто его знает!

— А вон на той стороне, — туда и пойдем копать; а вон тамо ребята.

Пила и Сысойко отгребли снег, потом топорами прорубили неглубокую яму. Эта работа продолжалась с час, — до тех пор, пока за ними не прибежал сторож.

В церкви священник и дьячок начинали уже отпеванье. Дьячок стоял около священника, на котором была надета ветхая риза. В руках у священника было кадило. В церкви теплилась одна лампада и горели две свечи. Гроб был открыт. Пила и Сысойко стояли около гроба и смотрели на Апроську. Они не молились, а думали; жалко им было и

досадно, что Апроська умерла, что ее в землю скоро зароят а как да старуха-то съесть ее?..

— Налю бы другой гроб-то!—сказал Сысойко.

— Поздно уж.

Пилу и прежде, и теперь одно занимало: зачем это священник какой-то штукой с дымом таким баским машет? Это занимало и детей его, и Сысойку.

— Батшко, ты не хлестни Апроську-то,—сказал Пила.

Священник молчал.

— Право, брось! Ишшо вырвется..

Священник стал убеждать Пилу, что он делает нехорошо, что это так законом установлено. Наконец священник кончил отпеванье, посыпал трупы землей и велел подлиповцам нести гроб.

С полчаса Пила возился с Сысойкой. Сысойко просил еще посмотреть на Апроську, а Пила хочет закрыть гроб и увязать веревкой.

— Пила! я ошшо погляжу!

— Ишшо не нагяделся!

— Пила, я Апроське нос откушу!..

— А это вишь!—Пила показал Сысойке кулак.

— Пра, откушу!

— Не тронь!

— Дай?!

Сысойко расцапался с Пилой. Дьячок и сторож проводили подлиповцев из церкви и с двумя крестьянами вытащили гроб на улицу.

На кладбище Пила увязал гроб веревкой, покопал еще яму и с Сысойком и ребятами опустил гроб в яму.

— Пила, дай погляжу!

— Ну уж, развязывать не стану.

— Я завяжу.

Пила толкнул Сысойку и стал засыпать гроб землей. Засыпав землей и снегом яму, Пила и Сысойко воткнули в курган два топора.

— На, Апроська!.. Не жалуйся, што обижали тебя...

Дети Пилы ушли к матери за церковную ограду. Матрена не пошла на кладбище; она плакала у церкви.

Пила и Сысойко с полчаса стояли у кургана. Они большую часть времени молчали, смотрели на топоры; жалко им топоров-то, а может, Апроське понадобятся они. Надо бы с ней положить... «Ведь вот, Апроська-то жила, жила, а теперь вот тут»...—говорил Пила и плакал.

— Как бы ее старуха не съела. Пошто же это в землю-то зарыли?—говорил Сысойко.

— Пошто! што с ней, мертвой-то?

— А мы возьмем, уволокем!

— Ну-ко возьми! Уж теперь их нет тута.

— Ере?!

— Поп бает, улетели!

— Ах, ватаракша! да мы зарыли-то, не поп?

— Ну, бает, как зароем—и тютю...

Вдруг Сысойке послышался стон из земли, он пустился бежать и, запнувшись о пень, упал.

— Эх те бросило!—захохотал Пила.

— Пишшит!.. Ай, пишшит!—кричал Сысойко.

Пила струсил.—Кто пишшит!—крикнул он.

Пила услышал из могилы стон и стук... Пилу морозом обдало, он не мог двинуться с места... Из могилы раздался еще глухой протяжный стон, похожий на визг. Пила побежал. Добежав до ворот, он закричал: «Сысойко! беда!» Сысойко лежал на своем месте, боясь встать... Ему слышался еще стон. Пила тоже не шел к Сысойке. Оправившись от испуга, он сжал кулаки и стал ворчать: «Попиши ты у меня! Я те ужо... Эх те взяло!.. Сысойко!»

Сысойко опять пустился бежать и, прибежав к Пиле, кричал: «Ай беда! пишшит! все пишшит»...

— И теперь?

— Теперь...—Сысойке и теперь казалось, что пишшит. Пила уже не слыхал стона.

— Кто же пишшит-то!.. Витер?—спрашивал Пила.

— Апроська.

— Уж молчал бы... Знаешь ты черну немочь.

— Апроська!

— Ну нет, Апроська улетела... Вот так штука!..

Обоих их любопытство брало, что это за штука такая. Итти разве послушать, да боялись они, их трясло.

— Уж не Апроська ли?—сказал вдруг Пила.

— Я те баял...

— Подти туда?

Сысойко побежал за ограду. Пила пошел за ним.

— Леший! право... чорт! подем, поглядим тамока,— уговаривал Сысойку Пила.

Сысойко не шел.

Пила и Сысойко сказали об этом Матрене и ребятам, и те испугались. Сказали они и крестьянам, те сначала не поверили, потом пошли на кладбище, но так как там ничего уже не слыхали, то и обругали Пилу и Сысойку.

Предмет любви Пилы и Сысойки—Апроська—была живая похоронена. Интересно было бы знать, что бы случилось с ними тогда, когда бы она пробудилась от летаргии в то время, как Пила ладил веревку обвязывать гроб. Вероятно, они разбежались бы, а может быть, и убили бы ее.

После зарытия Апроськи в землю и после слышанного Пилой и Сысойком стога, из могилы горе обоих усилилось. Они ходили как полоумные, взбешенные, и как ни были глупы оба, но у обоих явилось в их мозгах сомнение насчет смерти Апроськи. Оба они сильно любили Апроську.

Наконец Пила и Сысойко уверились в том, что Апроська умерла. Им сделалось легче. «Апроська умерла, убилась. А я-то пошто живу!» думали Пила и Сысойко.

— Пила, заруби меня,—сказал Сысойко.

— Э!.. ты заруби.

Оба они думали о смерти; но все-таки обоим им казалось страшно умереть, обоим хотелось еще пожить...

— Поедем, Сысойко!.. Поедем,—говорил Пила.

— Куда к лешим?

— Бурлачить.

— Убей меня!..

— Богачество там... Ну, что в деревне? Апроськи нет! Эх, горе!—Пила заплакал.

Сысойко изругался, в ругани он хотел излить все зло на эту жизнь,—на все, чего он не понимал...

— Пойди ты в Подлипную... Ну, что там?—помер.

— Пойдем, Пила, пойдем, братан... Эх, Пила!

Горе обоих велико было. Для обоих мир этот казался тяжелым, невыносимым. У них не было отрады. При всей бедности без Апроськи они думали: как жить теперь?

— Пойдем вместе,—сказал Сысойко.—Веди, а в Подлипную шабаш!

— Уж ты иди, не отставай... Сысойко! умри ты,—беда мне...

— Мне тоже!..

До утра оба они не спали. Когда они заснули, то им померещилась Апроська с искусанными руками, и они слышали откуда-то стон. Они спали недолго и, пробудившись, стали звать Матрену, Павла и Ивана в город.

Когда была жива Апроська, Матрене было все равно, что есть у нее дочь; не будь дочери, Матрене было бы тоже все равно; есть человек—ладно, а впрочем, пожалуй, и не надо бы: хлеб лишний идет; только ровно веселее с девочкой, да и грудью ее Матрена кормила, как кормила и прочих детей. Только в этом и заключалась любовь матери к дочери. Когда умерла Апроська, Матрене жалко стало ее, а почему жалко, она сама не могла понять. Она плакала, что не увидит уже Апроськи, не будет говорить с ней, и сама не знала, чего бы такого попросить у Бога, а только со слезами говорила: «Апроська померла!.. Ах, пошто ты померла? Пожила бы ты ошшо чуточку, поглядела бы ошшо на красно солнышко»... Слова эти были заимствованы Матреной у других женщин, плакавших и причитавших по усопшим, и все-таки они были искренние, задушевные; больше этих слов Матрена ничего не придумала хорошего. Матрене жалко стало Апроськи, а потому ей тоже не хотелось ехать в деревню. Без Апроськи пусто теперь дома. Подумай Матрена об этом при жизни Апроськи, представь себе то, что Апроська, как и все, может умереть, теперь бы ей не так жалко было Апроськи.

Но Матрена никак об этом не думала: она хотя и видела умерших женщин, но никак не могла представить себе того, что Апроська может умереть; она не могла до сих пор понять: что это такое делается с людьми, когда умирают, и зачем их зарывают в землю? Матрена даже не верила, что и она может умереть, а если говорила о своей смерти, так только так себе, зря, и то когда сердилась. Скажи ей кто-нибудь: «И ты, Матрена, тоже помрешь, и тебя в землю зароят», Матрена тому бы в лицо плюнула и обругала бы...

Когда Пила стал звать Матрену бурлачить, она думала, что бурлачить—баско, и согласилась.

Итак, подлиповцы, Пила с женой и детьми и Сысойко, отправились бурлачить.

Подлиповцы приехали в город часу в пятом вечера. Они остановились у содержателя постоянного двора, Терентьича. Терентьич знал Пилу, который часто прислуживал ему, и потому пустил подлиповцев даром. Кроме подлиповских лошадей, во дворе была только одна лошадь. Пила достал хозяйского сена, утащил из незапертой стайки овса и стал кормить лошадей. Подлиповцы отправились в избу. В ней было до двадцати мужиков: пермяков, черемисов и вотяков. Половина из них лежали на печке, на полатах и на лавках, половина сидели за большим столом и хлебали что-то в роде щей. В избе не было огня, хотя было очень темно.

— Бог на помощь!—сказал Пила.

— Ладно. Ты откедова?—спросили его сидящие за столом.

— Подлипную знаешь?

— Кто те знает? Вячкой или Чердынский?

— Чердынский.

— Колдун. ребя!

Пила подумал: «Сделаю я с вами штуку».

— Эх вас сколь! Бурлачить?

— Э!

— А эта баба-то тоже?

— Тоже.

— Баб, бают, не берут.

— Ее возьмут... Она килы садит.

Сидевшие за столом вытаращили глаза на Матрену.

— Верьте вы ему, вытаракше... Он вон Апроську умо-
рил!—ворчала Матрена.

— Слышь, беда!.. чурайся! наше место свято!..—шепта-
лись мужики.

Пилу манил запах щей, и он подошел к столу.

— Экую ты гомэулю-то взял!.. Смотри, обтрескаешься!—
сказал Пила одному мужику, оплетавшему большой ломоть
хлеба.

Мужик спрятал кусок за пазуху. Четыре мужика вы-
лезли из-за стола, за ними вышли и прочие.

— Экой лешой, и ись-то не дает!

— Шаркни его по башке-то.

— Топором ево!—кричали мужики.

— Садись, Сысойко.

За стол уселись все подлиповцы—Пила, Сысойко, Ма-
трена с Тюнькой, Павел и Иван.

Мужики боялись Пилы и Матрены. Они давно наслы-
шались, что все чердынские крестьяне колдуны, а колдун,
по их понятиям, опасный человек, да и не человек, а чорт
не чорт, что-то особенное: и человеком ходит, и невидимкой
делается, с нечистой силой знается, медведем бегаёт, соро-
кой летает и проч., и проч., Неславшие мужики стали смотреть
на Пилу и Матрену; сидевшие за столом и вышедшие из-за
него стояли у печки и у порога, доедая куски хлеба, и молча
смотрели на подлиповцев, ожидая какого-нибудь чуда.

Пила, его семейство и Сысойко принялись доедать лежа-
щий на столе хлеб и налитые в большую чашку скоромные щи.

— А ты наперед заплати деньги, тогда и распоряжайся,—
сказала хозяйка и утащила чашку со щами.

— Заплачу,—сказал Пила.

— Заплатишь ты! Сколько ел, а все не платил.

— А ты погляди, кто у те в чашке-то сидит?

— Кто сидит?—спросила хозяйка.

— Дай сюды, покажу!

Пила подошел к хозяйке.

— Что ты врешь?

— Слепpla! Гляди, мышь!

— Ах вы, погань экая...—сказала хозяйка.—Вы и хлеб-то весь испоганите.—Она хотела взять хлеб, но Пила сказал ей, что в ковриге лапка чья-то видится. Хозяйка прижалась к печке и стала смотреть на подлиповцев, как они охобачивали хлеб. Щей уж не было. Мужики дивились.

— Ишь, Якуня, Ваня, што диется!

— Подем!

— Ты учись, научит...

Так толковали мужики.

— А я иишо не то сделаю,—бахвалился Пила.

— Ой!

— Подем, ребя!

— Айда.—Стоявшие мужики ушли.

Хозяйка верила всем предрассудкам и страшно боялась колдунов. Пилу она и прежде считала за колдуна, потому что он хитрил над мужиками и возил с собой какие-то травы, которые и ей давал. Увидев теперь, что его испугались мужики, она тоже струсила. Хотела скликать мужа хозяина, но в то же время ей хотелось выслужиться и Пиле.

— А ты килы садишь?

— Эво! Тебе што ли надо?

— Не мне, а Терентыхе. Проходу мне нет от нее; все говорит: уж как ни будь, да буду я тебе!

— А много ли дашь?

— До денег-то нет...

— Кормить станешь?

— Ладно, только сделай килу.

— Уж сделаю!

Мужики с печки, полатей и лежащие на лавках слушали Пилу и переговаривались между собой.

Сытно наелись подлиповцы. Целую ковригу съели.

— Што, Сысойко, наелся?

— Баско! Ошшо бы...

— Нету боле!—сказала хозяйка.

— Ну, теперь спать.—Пила полез на полати.

— Убью! не ходи...—закричал один мужик.

— А ты гляди: кила у тебя на роже то!—сказал Пила.— Мужик испугался и ушел с полатей, за ним ушли и прочие. Они улеглись на пол, подлиповцы залезли на полати и расположились спать, не раздеваясь, так же, как и прочие мужики.

— Учись, Сысойко! всему научу,—хвастался Пила.

— Ты врешь все.

— Хошь килу?

— Нет.

— То-то... Уж я, брат, што захочу, все сделаю.

— А зачѐм Апроська померла?..

— Так ты колдун?—спросил один мужик с печи.

— Колдун.

— Гли же! У нас тоже есть колдун; што захочет, так будет. Баба есть такая, в трубу вылетает.

— А вот эта баба-то—беда!—сказал Пила про Матрену.

— Ой ли?

— Верь ты ему, варнаку!—отплюнулась Матрена.

— А ты молчи!—крикнул на нее Пила.

— Што молчать-то!..

Матрена знала, что Пила не колдун; а впрочем, кто его знает. Пила слишком заврался.

— Ребя, бабы-то нет уж!

— Ой!

— Улетела! А ты молчи!—шепнул Пила Матрене, которая лежала у стены.

Мужики струсили.—Как улетела?—спросили они, а заглянуть на полати боялись.

— Да она откедова?

— Кто ее знает. Села ко мне на лошадь, вези, говорит...

— А ты бы ее топором, топором, так бы и хлестал.

— Бил—не берет...

— Куды же она улетела?

— А кто ее знат. Она вон к ейной бабе улетела.

— Это к Терентьихе?—спросила хозяйка, дрожащая от страха.

— К ей!

— Слава те Господи!

— А ты зачурайся,—сказал хозяйке один мужик, лежащий на полу.

Подлиповцы стали засыпать. На полатях было так тепло, что подлиповцы ни за что бы не сошли и спали бы долго, долго. Они уснули скоро. Во сне им мерещилась Апроська, и они часто кричали со сна: «Апроська! пишшит!» Мужики, бывшие в избе, долго еще толковали насчет Пилы и рассказывали разные случаи о колдунах, слышанные ими от людей.

— Недавно,—говорил один,—у нас, значит, свадьба была. Баско гуляли. Ладно. Вот и появился колдунья, и запела по-куричь: съем, бает... Беда! Так и бегат за бабами! Ну, и драло все, а кто на печку залез, да кринки на голову и посдевал... Она, будь проклята, и давай кринки на пол кидать, кою бросит, и разобьется... Ужаси!

Мужики крестились и охали.

— Это што,—говорил другой.—Вячки-те лучше ваших чердынских. У нас, братчи, колдун издох. Как ночь, и перевернетца, и побежит, и побежит!.. Привезли ево в черковь, церковный пеун и давай отцытывать, а поп и давай махальничей махать. Махал, махал, долго, а колдун и давай зубами цакать... Пеун побег; а поп и хлобысни колдуна-то цитальницей... Колдун и помер.

— У вас што в Вятке-то. У нас лучше есть...

Лежавшим на печке не спалось. Один из них достал огня на лучину; все четверо, лежавшие на печке, заглянули на полати: там все подлиповцы храпят, и Пила тут, и Матрена тут.

— А баба-то прилетела!

— Хлобысни бабу-то!

— Ты хлобысни...

Пила в это время проснулся, взглянул... Мужики испугались и слезли с печки... Пила слез на печку и уснул на ней один. Он спал лучше всех.

Подлиповцы пробудились на другой день поздно. Хотелось им еще поспать, да хозяин сказал, что у них одной лошади нет. Пила и Сысойко соскочили, один с печки, другой с полатей, вышли во двор; действительно, не было лошади Пилы с дровнями и двумя топорами.

Пила выругал хозяина, говоря: ты украл мою лошадь. Хозяин тоже выругал Пилу, говоря, что лошадь украл не он, а наверное мужики, ушедшие из избы вечером. Пила пошел с Сысойком по городу отыскивать свою лошадь. Но город не Подлипная; в городе скорее заблудишься, нежели отыщешь лошадь. Пила вошел в соседний с постоялым двором двор, там кучер выругал его и погрозил отправить в полицию; в третьем он натолкнулся на какого-то барина, барин прикрикнул на него. Пила постоял на улице, подумал, куда идти искать? «Пропала лошадь, не найдешь. Вот если бы я колдун был, уж не украли бы лошадь»,—ворчал Пила. Горе его велико было, лошадь—товарищ крестьянина. Куда он теперь денется без лошади, пожалуй, и бурлачить нельзя. «Оказия! Ах, воры!.. И смерти-то на вас нет»... Изругался Пила сильно; долго ругался, ругал и Матрену, и Сысойку, и мужиков, и Апроську выругал, а лошади не отыскал.

По дороге шли вчерашние мужики.

— Вон он, колдун-то!—сказали несколько мужиков.

Пила выругал их.

— Ишь он, чорт-то! Видно, мяконьких наклали.

Пила опять выругал их.

— Лошадь украли!—крикнул он.

Мужики захохотали. Пила бросился на мужиков, как медведь: одного сшиб с ног, другого повалил на снег, третьему нос разбил... Мужики разбежались от него.

— Смешно, лешие... Лошадь украли, дьяволы!..—ругался Пила.

Пошел он опять на постоянный двор. Там было шесть мужиков. Пила все ругался.

— А ты не ругайся, и мы ругаться-то мастаки... Тебе на што лошадь-то? В бурлаки с лошадьми не берут, не нужно. А ты вот продай эту.—Пила еще хуже заругался. Мужики стали сбивать Сысойку продать лошадь.—Ты то пойми, какая у те лошадь-то: ишь худая, того и гляди, издохнет. А ты продай.

— Ты свою заведи да продай,—ворчит Пила.

— Были они, свои-то, да тоже продали.

— Што ты, собака, пристал: продай да продай!

— А посмотри,—завтра и этой не будет.

Однако мужики сбили Пилу.

— Ты врешь, что лошадь не надо?—спросил Пила, поняв, что им нечем будет кормить лошадь.

— Што врать-то, дело говорю.—Рубля три дадут...

— Экой прыткой... Пять давай!

Пила больше пяти рублей не знал счету: для него пять рублей уже богатство было.

— Не продам!—сказал Сысойко.

— А оно гоже, Сысойко, толкуют!—Лошадь-то того и гляди издохнет; уж моя ходила чуть-чуть, а эта ишь какая пигалица, самому ошшо надо везти.

Пила и Сысойко решили продать лошадь и тут же продали одному крестьянину за три рубля. Получивши два рубля, Пила и Сысойко поехали с крестьянином в гитейную лавочку. У питейной лавочки стояло с пятнадцать мужиков.

— Эй ты, лешой! Где баба-то?—спросил Пилу мужик, спавший в постоялой избе.

— Што баба?.. Вот лошадь украли.

— А я, бает, колдун.

— Поговори ты у меня, шароглазый пес.

Мужики осмеяли Пилу. Пила обругал их.

В питейной лавочке пили водку три мужика. Крестьянин, купивший Сысойкину лошадь, поставил полштофа водки и стал потчевать подлиповцев. Сысойко никогда не пивал еще водки, со стакана его разобрало. В лавочку вошло еще человек шесть. Попойка продолжалась с час; Пила, захмелев, пропойл еще рубль. Мужики стали петь и плясать и кричали до ночи, когда их вытолкали на улицу. Мужики орали песни или рассуждали о бурлачестве.

— Баско бурлачить!—заметил Сысойко, уже пьяный, поддерживаемый Пилой, который тоже пошатывался вперед и назад, направо и налево.

— Баско,—ответил один мужик.

— А што делать-то?—спросил Пила.

— Плыть. Реки эво какие! Большушие, пребольшушие.

— Лиже ты! А близко?

— Далеко. Теперь будет Соликамско город, потом Усолье город, Дедюхино...

— Вре!

— Пра. Там Чусова река, Кама-матушка... Вот дак река! А там, бают, Волга, супротив той Кама што! А идет она с того свету, и конца ей нету...

— На ней, бают, атаман Ермак, силища у него—у, какая была!—он, бают, города брал; никто ему не смог перечить...

— А там люди-то есть же?—спросил Пила.

— Есть, да иные, бают.

— Вот, Сысойко, куда мы подем!—Ты мне должен спасибо сказывать, каракуля ты экая,—говорил Пила.

Пила и Сысойко отстали от мужиков, шли кое-как; Пила хвалился тем, что он сила и колдун, Сысойко почти спал и только нукал да эвал. Шаг за шагом ноги обоим изменяли, и они, рассудив, что лучше тут уснуть, улеглись среди дороги, и в первый раз в жизни забыв о житейских дрязгах, о своем горе, уснули в обнимку. Зато утром они проснулись в месте грязном, месте прохладном и душном, среди незнакомых лиц, мужиков и каких-то, «кто их знает каких» людей...

Благодетельная полиция сжалилась над подлиповцами, спавшими среди улицы на дороге, и стащила их в чижовку.

Пила и Сысойко никак не могли понять, где они и что это за люди такие. Помнят они, что были в кабаке, а как сюда забрались? Они даже трусили: уж не на тот ли свет они забрались, уж не бурлачество ли это? Пошел Пила к дверям, двери заперты. Пила удивился. Люди его забавляли: они говорили такие слова, что Пиле смешно стало. Спросил он их:—а што, бурлачество это? Те осмеяли его. Пила их выругал и улегся опять на пол около Сысойки.

— А баско, Сысойко. Спи знай, ишь сколь людей-то, и люди-то все какие-то востроглазые. Пила и Сысойко уснули.

Однако им не позволили долго нежиться. Пришел в чижовку квартальный с казаками и растолкал их ногами. Пила и Сысойко испугались и встали.

— Кто вы такие?—крикнул на них квартальный.— Пила струсил.

— Мы-те?—спросил он.

— Да что ты, скотина, не отвечаешь?

— А ты знаешь Подлипную?

— Что?

— А ты не кричи! Эх испугались!..—сказал Пила и пошел к дверям.—Квартальный ударил Пилу по лицу, Пила стал ругаться и полез в драку...

— В острог его, каналью! В кандалы заковать!—сви-репел квартальный.

— Эх испугались! Куды тоже и с лапищами лезет!.. Я, бат, восемь медведей убил.

Долго возились с Пилой и Сысойком солдаты: хочется солдатам кандалы надеть на ноги подлиповцев, а они ругаются; одному солдату такую затрещину дал Пила, что тот и свету божьего не взвидел. Солдаты связали им руки, но и тут Сысойко укусил одному солдату руку. Подлиповцев вытолкали из полиции, и два дюжих солдата повели их в острог.

Пила и Сысойко никогда не видали арестантов, не знали, что за острог, не понимали, что такое делается с ними. Впрочем, они струсили. Уж не на смерть ли их ведут? Пила боялся солдат.

— Поштенной, а поштенной, куда это мы?—спросил Пила робко одного солдата.

— Куда? знамо, в острог.

— А это што?

— Не бывал коли,—увидишь. Заворовали, сволочи!

— Поругайся ты, востроглазый!

— Видно плута.

— Право, не ругайся, всего изобью.—Пила рванул было руки, крепко связанные назад. Пила чувствовал, что он ровно без рук сделался. Он пошел в сторону, за ним пошел и Сысойко.

— Куда! куда! закричали солдаты.

Пила и Сысойко пустились бежать. Солдаты их догнали и избили. Пила и Сысойко ругались, ругали друг друга.

— Баял я те, не пойду!—ворчал Сысойко.

— Молчи, пучеглазый! не ты бы, так не пошел бы я.

— А ошшо бает: я колдун!—Сысойко выругал Пилу. Пила плюнул в лицо Сысойке. Сысойко тоже плюнул в лицо Пилы.

— Смирно вы, дьяволы!—закричал на них один солдат.

Пила и в солдата плюнул... Солдат опять избил Пилу. Кое-как солдаты довели подлиповцев до острога и сдали офицеру. Смотритель втолкнул их в большую избу, темную, сырую, холодную и грязную, с удушливым запахом махорки. Фуки им развязали.

— Ишь чорт, куда попали!—ворчал Сысойко.

— Молчи, собака, зверь ты эндовой, мохнорылый пес!..

— Издохнешь, пигалица!

— Тыфу... мохнорылый пес!—Пила плюнул в лицо Сысойки, тот тоже плюнул. Завязалась драка. Их огдушили хохотом тридцать человек арестантов с кандалами, лежащих на нарах и под нарами. Двадцать арестантов окружили подлиповцев и роняли их.

— Я восемь медведей убил, а ты што?—ругался Пила.

— Сам я одново убил... Экой прыткой!

— Ай да молодцы! Ну-ко ишшо? кричали арестанты.

— Што ишшо? Подойди, пес!—кричал Пила одному арестанту.

— Ты много ли душ-то сгубл?

— За убийство знамо попался!

Пила схватил попавшийся под руки ушат и поднял его в порыве ярости; его облило чем-то вонючѣм. Все хохотали, даже Сысойко смеялся. Пила бросился на арестантов, Сысойко тоже бросился, но арестанты избили их.

— Не хочу я знаться с вам!—сказал Пила.—Айда, Сысойко.

Пила пошел к двери; двери были заперты. Пила стал стучать в двери и услышал: «Что стучишь, сволочь? Сиди!»

— Я те дам, сиди!—Пила и Сысойко, что есть мочи, стучали в двери кулаками и метлой, валявшейся на полу.

— Храбер!—кричали арестанты.

— Ты, Сысойко за меня держьсь... Как отопрут, мы и выскочим, а то съедят здесь. Ишь, какие рожи-то... Сысойко взял в обе руки полы полушубка Пила. Загремел замок, двери отворились, Пила и Сысойко выскочили. Но их поймали. Смотритель их жестоко отпорол розгами и втолкнул в какую-то темную канурку. Пиле и Сысойке так обидно сделалось от боли и от всего, что было с ними, что каждый из них хотел что-нибудь сделать этим злым людям. Оба они лежали вместе на животах; руки были завязаны на спине. Они не могли даже повернуться: так их избили и истерзали!..

— Сысойко!.. стонал Пила.

— Пила!.. Ох, больно!..

— Ну, теперь помрем...

Пила начал ругаться, Сысойко тоже, и оба страшно ругались и грызли рогожу, на которой лежали.

На другой день подлиповцев повели в полицию. Пила и Сысойко шли молча, едва переступая от боли. Лица их избиты; от ран на них запеклась кровь.

— Эх, тебя избили,—сказал жалобно Пила Сысойке.

— И тебя, бат, тоже: глаза-те у тебя эво какие! а нос-то—беда!.. стонал Сысойко.

Несмотря на боль, обоих забавляли ружья солдатские,

— Што же это торцыт, Сысойко? Вострое—нож не нож?..

— А ты спроси!

— Нет, ты спроси.

— Боюсь, изобьют; ошшо пырнет востреем-то...

Пила не утерпел, спросил-таки солдата:—а это, поштенный, что у те?

— Што што?

— А на ружье-то торцыт?

— Это ружье, а то штык.

— Эво, не знают што-ли ружья-то! Медведев вон ломом бил, а рябков ружьем стрелял, знаю.

Солдаты хохотали:—будет вам жару и пару!

— Ошшо?

— И как еще вздерут-то!

— А пошто?

— А за-то, не ходи пузато. Не делай убийства.

Пила и Сысойко молчали.

В полиции были городничий и судебный следователь.

В присутствие ввели Пилу одного.

Судебному следователю жалко стало Пилу при виде его особы, избитой и худой. Ему сказали только, что есть два важных преступника, которые бежали от стражи и были пойманы. Обстоятельство дела началось с донесения квартального, который писал, что Пила и Сысойко валялись пьяные ночью на улице, были приведены в полицию и там произвели буйство.

— Кто ты такой?—спросил судебный следователь Пилу.

Пила повалился в ноги судебному следователю.

— Не губи, батшко! Вон корову увели, лошадь украли...

Апроська померла... Всего избили... Смерть тожно скоро...

Городничий улыбнулся.—Притворяется, каналья!

— Встань! сказал следователь. Когда Пила встал, следователь велел развязать Пиле руки.

— Ты говори откровенно: кто ты такой?

— Чердынской.

— Крестьянин?

— Хресьянин.

— Какой деревни?

— Деревни Подлипной, обчество Чудиново.

— Чем занимаешься?

— А што делать-то?... Хлебушка нет, кору едим...

Вон сысойковы ребята померли, корову за них увели... А там Апроська померла, сысойкова мать померла, я и пошел бурлачить.. Вон Матренка с ребятами у Терентьича на постоялом живет... Пусти, батшко, бурлачить-то!.. Ослободи!

— А как зовут тебя?

— Зовут меня Пила.

— Имя и отчество?

— Туто все: Пила родился, Пилой помру... Зовут еще

Гаврилком, да это только дразнятся, а Пила настоящее все так зовут: и поп, и Терентьич здешний.

— Зачем ты драться лез?

— Где-ка?

— А как тебя пьяного сюда привели и как потом квартальный стал тебя спрашивать.

— Кто его знает, кто он. Я с Сысойком лежал, а он с архаровцами пришел и давай пинать меня, потом и хлеснул. А я, бат, сам восемь медведей убил, никому не спущу... Больно прыток!.. Ишшо не то ему сделаю... Ишшо вот железки собака, надел...

— Ты не ругайся, а говори дело.

— Уж как умею... А уж не спущу... Вон архаровцы всего избили, а там еще хлестать стали... Беда!..—Пила плакал.

— Он, кажется, не виноват!—сказал следователь городничему.

— Притворяется, собака.

Позвали квартального. Как только вошел квартальный, Пила чуть не бросился на него.

— Вот он, ватаракша! Ну-ко, подойди ко мне! Подойди!

— Молчать!—сказал городничий. Пила присмирел.

— Вы его привели в полицию ночью?—спросил следователь квартального.

— Казаки.

— Он говорит, вы его били.

— Ах, он каналья! Он спал пьяный, я стал будить его и другого, они ругаются. Стал спрашивать, кто они такие, этот разбойник и полез на меня. Я и велел заковать в кандалы и отвести в острог.

— Зачем?

— Да помилуйте, он всех перережет!

— Ах, ты востроглазый чорт!.. Я те дам!!!. Ты меня бить-то стал, а уж тебе где со мной орудовать. На тебе и надето-то што!.. Пигалица, право!

— Он вот и теперь ругается. Да он, может быть, беглый какой-нибудь.

— Есть у тебя паспорт?—спросил следователь Пилу

Пила не понимал.— Это как?

— Получал ты когда-нибудь паспорт из волостного правления?

— Какой прыткой! Поди-ко, возьми наперед,

— Знаешь ты, что такое паспорт?

— А пошто?

— Тебе не давали никакой бумаги?

— Нету!

Следователь показал Пиле лежащий на столе паспорт.

— Баско!—осклабился Пила.—А ты дай мне! Пиле понравился кружок сорлом на паспорте:—а это какая птича-то?

— Есть у тебя квитанция в платеже податей?

Пила не понимал этих слов.— Это опять как?—спросил он.

— Платил ты подати?

— Сам бы взял ошшо, да не дают, вон Христа ради пособираешь да купишь хлебушка. Эх ты!..

Пила сделался развязнее. Следователь понравился ему.

— Вот што, почтенный, дай мне хлебушка, Христа ради!.. Вот у меня Сысойко, того и гляди помрет; а Матрена с ребятишками померла уж поди.

— На что же ты пьянствовал?

— А я лошадь сысойкову продал хресьянину; хресьянин и повел нас, меня да Сысойка, в кабак; хресьяна чужие пришли, ну и пили... За лошадь два рубля получил, а как хватился в том месте, где меня впервые избили, и тю-тю денег...

Следователь был человек молодой и понимал дело. Ему жалко было Пилу.

— Сколько тебе лет?—спросил он Пилу.

— Да вот поди лето скоро будет... Летом-то баско...

— Неужели ты не знаешь себе лет?

— Прокурат ты, как я погляжу! Помер бы я, да не могу... Вчера вот думал, совсем помру, а нет... Вон Апроська сперва померла... Ах девка, девка!..

Пила вспомнил, как он видел ее в могиле.

— Кто она тебе?

— Девка. Матрена родила.

Следователю не раз приводилось иметь дело с подобными крестьянами. По своей глупости они ни за-что, ни про-что

попадали в беду. Назад тому год до него подобных крестьян обвиняли в разных разностях, приговаривали к каторге, и они, терпя наказания и разные муки, шли в далекие страны, сами не зная, что с ними делается, и гибли, как гибнут измученные животные. Прежним следователям никакого не было дела до участи этих бедных крестьян, им только нужно было скорее сдать дело в суд, который решал по тем данным, какие были в деле. Счастье Пилы, что его стал спрашивать не становой и не городничий, а такой следователь, как их у нас еще очень немного.

— Если ты окажешься прав, мы отпустим тебя, — сказал Пиле следователь.

Пила повалился в ноги следователю.

— Батшко! пусти скорее!.. Куды я без Сысойки денусь и его пусти, ведь вон там парни ошшо.

Пилу вывели в прихожую. Позвали Сысойка. Сысойко оказался еще глупее Пилы, говорил то же, что и Пила. Он даже не знал своего настоящего имени, а говорил: «Я Сысойко, и все тут».

Позвали Матрену и ребят Пилы. Те рассказали все, что умели и знали, а Матрена выла об Апроське. Хозяин постоянного двора сказал, что он знает Пилу несколько лет, что он вреда не делает, а больно беден. Спросил следователь и арестованных при полиции, те показали, что квартальный в тот день был пьян. Пилу и Сысойка расковали и оставили при полиции под арестом до тех пор, пока не получат донесения от станового пристава, заведующего Чудиновской волостью, о том, есть ли там Пила и Сысойко и какие настоящие их имена.

В полиции Пила и Сысойко жили с месяц. Жили они в небольшой комнате, называемой чижовкой, грязной, с тремя лавками, двумя небольшими окнами с решетками и с разбитыми стеклами в рамах, заклеенными в нескольких местах бумагой. Клопов, блох и вшей в ней находилось бесчисленное множество, и эти насекомые то и дело, что насыщались кровью своих жертв—несколько человек, постоянно находящихся в чижовке. Иногда в чижовке было человек 10, иногда и 5.

Люди эти были большею частью пьяницы, найденные ночью на улицах полицией, люди, нанесшие обиды разным подобным же им людям, неплатящие долгов, уличенные в воровстве и разных преступлениях, которые сидели тут по неделям, а потом или препровождались в острог, или выпускались.

Пила и Сысойке весело было с этими людьми; но они все-таки им не нравились. Они поняли, что чижовка такое место, куда сажают только «негожих людей, да и люди эти все ругаются, да говорят такие слова, что ужаси». Первую неделю Пила привыкал к этой праздной жизни и удивлялся, какой это добрый человек носит им хлеб, хоть и не свежий, а все же настоящий, и воду носит. Но когда он узнал от солдат, что он под судом, и хлеб дается ему казенный или царский, и когда товарищи его надоели ему, он не залюбил эту чижовку и всех людей, которые в ней жили, и постоянно ругался с ними. Первым делом его храбрости в чижовке было то, что он согнал с одной лавки двух женщин и расположился с Сысойком на место их. Это было на второй неделе их заключения. Все они спали на полу в своей одежде, на своих кулаках, так как постлать и положить под голову нечего было, но привыкши спать на полатах и поняв, что спать на лавке лучше, чем на полу, где постоянно ходят и наступают на них, Пила во что бы то ни стало задумал отнять одну лавку. Как он ни приступал, его не пускали на лавки и даже гнали, когда он садился. Но вот одна лавка опросталась: лежавшие на ней арестованные были выпущены, и на их место расположились две молодые женщины, обвинявшиеся в воровстве. Пила узнал, кто эти женщины, и не залюбил их. Когда на другой день потребовали их к допросу, Пила и Сысойко тотчас заняли их место. Заметивши это, другие арестованные перебивающиеся так же, как и подлиповцы, обиделись.

— Вы, сволочи, зачем легли?

— А што?

— Тут занято, почище вас есть.

— Поговори ты, собака!.. Мы, бат, раньше тебя живем.

Как их ни ругали арестованные, Пила и Сысойко только отругивались и с места не шли.

Пришли женщины, и увидев, что им, кроме пола лечь некуда, стали толкать Пилу и Сысойка. Те притворились спящими. Когда женщины потащили Пилу, Пила ударил одну из них так, что та упала на пол.

— Что ты, собака, дерешься?

— Што? Ну-ко, подойди ошшо? Подойди!..

— Ты наше место занял.

— Я те дам «занял»! Прытка больно!..

В чижовке все жохотали.

— Да пустите, черти!—просили женщины.

Пила лег лицом к стене и ворчит:—Я те пушшу, ватакшу. Ты то пойми: за что мы-то сидим?—Женщины стали ласкать Пилу.

— Какой ты хороший!—говорила одна.

— Я те «хороший»... Прытка больно!..

Одна женщина обняла Пилу. Пила опять ударил ее.

— Сказано, не тронь! и все тут! А с тобой уж не лягу, у меня вон Апроська была, а ты—чужая...

Подлиповцы каждый день топили печки в полиции и у городничего; случалось, проводили по целому дню в кухне городничего, что-нибудь работая. Дни эти были блаженные для них: они были несколько свободны, их кормили шами, жарким и даже кашей. Сам городничий понял положение Пилы, тем более, что жена его Матрена просила городничего пустить ее в чижовку жить с ребятами. Они теперь жили у одной нищей за 15 к. в месяц и собирали Христа ради. Однако, городничий не позволил Матрене жить в каталажке, а погрозил отправить в Подлипную.

Казakov и солдат подлиповцы не любили, но боялись их; те, зная о подлиповцах, обращались с ними добрее, чем с прочими арестованными, и часто шутили. По мнению солдат и казаков, подлиповцы были очень глупы и дики; раздражить их ничего не стоило; осердившись, подлиповцы лезли драться на того, кто сердил; но не все из солдат были такие: один из них часто отговаривал подлиповцев от ругани и драки. От этого же солдата они узнали, кого надо бояться, кого бить, кому как говорить, кому кланяться, кому нет.

Подлиповцы узнали также, что их становой и сельский поп еще небольшие лица, а в городе есть выше их: исправник, городничий, судья, а над попом—благочинный, и что над этими лицами еще есть старше, они живут в губернском городе, и над теми тоже есть старшие... Подлиповцы только дивились этому и плохо верили. Говорили им также, что этот город не один и земля велика, подлиповцы только смеялись.

В продолжение месяца подлиповцы узнали больше, чем живши до этого времени; например, они узнали, что есть места лучше и хуже Подлипной, есть люди богатые и такие, которых ни за что обижают и делают с ними не силой, а чем-то иным все, что только захотят, как это было и с ними: в Подлипной они боялись только попа и станового, а здесь многие их обидели, избили и отодрали, и теперь никуда не пускают. Узнали, что такое паспорта; узнали также, что так жить, как жили они, нельзя, а нужно итти в другое место. Пиле и Сысойке опротивела не только деревня, село, но даже и город, и они задумали, как выпустят их, тотчас же итти бурлачить и вести себя скромнее.

Наконец, Пилу и Сысойку выпустили из полиции.

— Куда теперь?—спросил Сысойко Пилу.

— Знамо, бурлачить.

— Айда! А мы Пашку да Ваньку возьмем?

— Возьмем.

— И Матрену?

— А не то как? Ну, и времячко! и городок!.. Сколько бед-то!

— Одно к одному и идет. Апроськи нет, пишшит, поди, стерво. Лошади тютю...

— А там, бают, лучше.

— Опять бы беды не было?

Насобирав на дорогу хлеба, купив на собранные деньги два мешка и по две пары лаптей, подлиповцы с Матреной и детьми ее отправились бурлачить. К ним пристали еще четыре крестьянина Чердынского уезда, отправляющиеся бурлачить в третий раз.

Подлиповцы и прочие крестьяне очень бедно одеты, но последние, по одежде, все-таки несколько богаче первых. На них надеты овчинные полушубки, во многих местах издранные, зашитые серыми нитками или дратвой, с заплатами кожи, холста и синей нанки; под полушубком видится поддевка из толстой сермяги, также, вероятно, с заплатами; на головах большие шапки из бараньей шкуры, тоже с заплатами; на ногах новые лапти; мочальными бечевочками, обвязаны, серые с синими из нанки заплатами штаны, по колени не закрытые ничем; на руках—или небольшие кожаные рукавицы, тоже с заплатами, но они не одни надеты на руки: под ними есть варежки, когда-то связанные из шерсти, а теперь обшитые холстом, или большие собачьи рукавицы, т.-е. сшитые из белых собачьих шкур с шерстью. Но Пила и Сысойко одеты еще хуже; на них полушубки из овечьей и телячьей шкур, чуть-чуть прикрывающие колени. Полушубки эти распластаны во многих местах, дыры ничем не зашиты, сквозь них видятся серые изгребные рубахи и грудь, так как у горла нет ни пуговиц, ни крючков, и они опоясаны ниже пупа толстыми веревками. От полушубков болтаются о колени клочки кожи. Шапки у них из телячьих шкур тоже с дырами, ничем не зашитыми; синие штаны, обвязанные по колени веревками от худых лаптей, тоже с дырами, и сквозь дыры видно тело; лапти худые, из носков выглядят онучи; рукавиц не было ни у Пилы, ни у Сысойки: их украли в полиции. Матрена была одета в такой же полушубок, как и подлиповцы, и такие же лапти, с тою разницею, что колени ее прикрывала синяя изгребная рубаха, а голову худенький платок, подаренный ей в городе. Матрена была опоясана веревкой, и за пазухой ее сидел трехгодовалый Тюнька. На руках Матрены были варежки, такие же, как и у крестьян, шедших с ними. На Павле и Иване не было вовсе шерсти, а сверх худых рубах надеты серые поддевки, ноги и колени прикрывали тряпки, завязанные бечевками от худых лаптей; на руках большие кожаные рукавицы с дырами; на головах шапки из крепкого войлока. У каждого из наших путешественников болтается на спине по котомке с хлебом, по паре или по две пары лаптей; у Пилы кроме этого болтается еще

вместе с лаптями худой сапог, найденный им в городе где-то среди дороги, вероятно, брошенный по негодности. Для чего взял Пила этот сапог, он и сам не знал, а понравилось. «Баская штука-то! ужо продам!» говорил он, и действительно продавал в городе этот сапог, только никто его не взял.

Идут наши подлиповцы по большой дороге, ухабистой и частью занесенной снегом; идут по сугробам и ругаются. Мороз как на-зло щиплет им и щеки, и колени, и пальцы ног и рук, и уши; хорошо еще, что по обоим сторонам лес густой и высокий. Подлиповцы привыкли к холоду, и их только злят проезжие в повозках и с дровами: нужно сворачивать в сторону; а как своротил, так и увяз в снегу по колени, а где и больше. Больше всего доставалось Павлу и Ивану; они в первый раз в жизни шли куда-то далеко; прежде они ездили на лошади, и хоть холодно им было, но все же не вязли в снегу. Зачем это тятка и Сысойко коней продали? рассуждали они. Ехали бы мы, ехали баско; а то иди, иди, конца нет... Они шли два часа, и им показалось это долго, они устали; им щипало пальцы ног и рук, носы забелелись, уши тоже.

— Тятка, помру!—кричал Павел.

— Тятка, не пойду!—кричал Иван.

— Я вам дам!—сказал Пила и обернулся назад. Жалко ему стало ребят.

— Што щиплет?

— Аяй!

— Три нос-то, да уши-те. Три хорошенько рукавицами-те,—кричал один крестьянин, а другой стал тереть Ивану щеки, нос и уши.

— Ой, ноги щиплет!—кричали Иван и Павел.

— Беги! вперед беги, прыгай, тепло будет!—Ребята пустились бежать и стали скакать.

— Ай, мальчонки!

— Брать бы не надо.

— Што им в деревне-то делать? помрут!

— Так оно. Гли, чтобы не замерзли!

— Не околят.

Но и тут Пила отобрал от Павла рукавицы, и поэтому

Павел отнимал у Ивана рукавицы, Иван отнимал их в свою очередь у Павла, так что эта борьба сместила наших путешественников.

Лучше всех было Тюньке. Ему тепло было на груди матери, а когда ему было холодно, то он плакал и кричал, а мать колотила его. Подлиповцы и товарищи их шли большею частью молча. У всех была какая-то тяжелая, неопределенная дума, какая-то тоска и радость: всех тяготила мысль о прошедшем, радовало будущее, хотелось скорее получить богатство. Пила и Сысойко думали о прошедшем, о своих горестях и о том, что-то будет в бурлачестве. Сколько проехало мимо них повозок с теплыми шубами! Подлиповцы им кланялись, снимая шапки и удивляясь звону колоколичиков, и долго стояли на одном месте, глядя на удаляющуюся повозку. Сидевшие в повозке не только не кланялись им, но не глядели на них. Они не знали, сколько потерпели горя Пила и Сысойко, не знали, что вся жизнь их была одни лишения, несчастья, горькие слезы; что они не могли оставаться в своей деревне; что им надоела своя родина, и вот они бегут от нужды, идут в мороз куда-то в хорошее место, где будет им лучше, где будет много хлеба, где они будут свободны... Далеко ли им идти, они не знают, а уж коли пошли, пойдут-таки, авось будет хорошо, а назад не за чем. Будь хоть там богатство,—они назад не пойдут: там они лишились Апроськи, коровы, лошадей, там их избили и измучили...

Товарищи Пилы и Сысойки, уже не молодые люди, также ругались и также сетовали на свою горькую, безотрадную жизнь; им также опротивела своя деревня, и они вот уже третью зиму оставляют свои семейства на произвол судьбы. Понятия их были не лучше, чем у подлиповцев. Они разнились от подлиповцев только тем, что были люди уже бывалые, видали города, испытали бурлацкую жизнь, словом, были люди тертые. Как ни трудна была бурлацкая жизнь, все же она им казалась лучше, чем в своей деревне, где они жили только два месяца в году и скучали о бурлачестве. Теперь они решились не ходить в свои деревни, а жить в городах на время зимы. Только жалко им было своих

семейств, но что же делать: баб бурлачить не берут, а сыновья еще маленькие. «Пусть сами идут добывать хлеб»,—говорили они. Пила их ругал за это, но крестьяне были своего убеждения: они уже обурлачились, стали отвыкать от баб и разных удовольствий...

Вот что рассказывали подлиповцам эти крестьяне. Спервоначально баско. Турнут тебя на барку и заставят грести. Гребешь это, гребешь день и ночь, в рубахе гребешь... спотеешь, а барку несет по воде чуть-чуть, потому, значит, железа в ней много. Почнет витер, так барку-то и давай качать туды да сюды... А на Чусовой так на а барка, летось, о камень хлопбыснулась и потонула; один бурлак, молодой парнюга, дай Бог ему на том свете баскую жизнь, потонул, родной,—так и не искали; бают, после вынырнул, да уж мертвый... Нас было много; робить заставили, значит вытаскивать железо да барку, как воды меньше стало... Опосля уж на другую барку сели... Плыли долго... Городов много видали... Чудеса. А какие там махины бегают по воде-то, с колесами, да с печкой, трубища в сажень, а где и больше... Пра! А как скапает две, либо три огромнеющие махины, только без колес, и волокет так прытко и к верху, и к низу. Баско... Только трудновато на барке-то, а все же ровно лучше. А таперь хлеб там какой есть: белый,—чарский, бают. Все бы ел да ел, дорого только... Какие тамо яблоки да арбузы... Баско!.. Сладко там!

Пила и Сысойко слушали и губы облизывали... Они во всем верили товарищам и от души полюбили их.

— А вы нас туда и ведите!.. На самое такое место.— говорил Пила.

— Уж приведем, спасибо скажешь... А назад уж мы не подем, шабаш!

— И мы не подем.

Наконец, попалась им деревня. Все они разбрелись по домам. Добрые хозяева, расспросив их, куда они идут, пустили их на печки. Подлиповцы и товарищи их, отогревшись на печках, закусив тем, что дали им хозяева, которые были немного позажиточнее подлиповцев, отправились опять в путь.

Подлиповцы и их товарищи пять дней шли, пять ночей спали в деревнях, пять дней мерзли на холоде, оттирали свои щеки рукавицами и бегали по дороге, отогревая ноги, ругали холод, ветры и вьюгу, пять ночей отогревались на печках, а конца все нет. Пилу и Сысойка брало сомнение: куды это они нас ведут! Они часто спрашивали крестьян: а скоро придем?..

— Да теперь скоро Усолье, там и возьмут нас,— отвечали им крестьяне.

Пила и Сысойко после этого терпеливо стали ждать конца и шли веселее. Деревни здесь попадались чаще, с виду они были лучше чердынских, и людей в них больше на улице, и все что-нибудь да делают; то бревна распиливают, то избу строят, то дрова куда-то да сено везут.

— Вот здесь баско!..— говорил Пила.

— И хлеб-то здесь баскые,— говорил Сысойко.

Иван и Павел часто мерзли от холода; крепко их пробивало ветром; часто они плакали... сажались на дорогу; но Пила колотил их и заставлял идти. Ребята шли и плакали... На шестой день они пришли в Усолье.

Усолье большое село, расположенное на берегу реки Камы. Оно очень красиво на вид: соляные варницы его рисуются на берегу р. Камы; зимою строятся барки и баржи, весною река оживает; всюду с отплывом льда снуют бедные мужики и спешат куда-то; сплавляются барки вниз, пароходы, зимовавшие на Каме, оживают от своего сна, бегут к низу одни, или потащут за собою баржи. Цель этих пароходов— дать пищу жителям. По мелководью Камы выше Усоля и, большею частию, по ненахождению хороших лоцманов, знающих Каму от Усоля до Чердыни, буксирные пароходы ходят от Перми только до Усоля, и то весной и до половины лета. От Перми до Усоля только два пассажирских парохода. Сбыт Усоля— соль, но соль постоянно сплавляется коноводками, большими барками, в которые помещаются десятки тысяч пудов соли и которые большею частию действуют лошадьми. Усолье богатое село; в нем живут зажиточные купцы; остальной

люди большею частью пробиваются около варниц Усольских и Дедюхинских—завода, находящегося вблизи от Усоля. Несмотря на то, что и в Соликамске есть варницы и в 12 верстах от него стеклянный Ивановский завод, город этот, как и Чердын, беднее Усоля, потому что сбыт всех материалов из него шлется в Усолье, оттуда идет в Пермь и дальше большею частью по реке. Соликамские жители всегда закупают в Усолье хлеб и другие необходимые вещи.

Наши подлиповцы рот разинули при виде хороших домиков и особенно варниц: все какие-то столбы стоят, а промеж их, наверху, перекладины; дома большие, с большими лестницами до самой крыши; мужчины и женщины по лестницам какие-то мешки таскают. Везде народ что-нибудь делает: это дрова, доски, бревна везет; бабы или ругают мужчин, или поют звонко песни, мужчины щиплют их, они визжат и колотят их кулаками или мешками. Всюду оживление, суетня,—иная жизнь, неизвестная доселе нашим подлиповцам... «Эко диво! Вот бы поробить!.. А это што? Ишь домина-то какая не широкая да высокая, а вверху штука какая-то: то поднимается, то унырнет»...

— Это, братцы, соль добывают. Вишь ты эту махину-то, што штучка-то укурнется да вынырнет,—это насос, а столбы-те эти с перекладинами тоже штучка... вишь перекладину-то: это жолоб. Соль идет в варницу.

— Вре!

— Пра! Только соль-то не такая, какую мы едим, а черная; в варнице,—вишь, где из трубы дым-то идет, там она варится и делается белой, настоящей солью.

— Лиже ты! Ах цуцело! Это соль-то, што на хлеб сыплет!—удивлялся Пила.

— Она и есть.

— Вре!

— Ну. А ты сам погляди.

Товарищи повели подлиповцев в насос. Там четыре лошади, погоняемые одним мальчуганом, шли кругом столба с колесами. Колеса двигались, и их много, большие и маленькие. Подлиповцы ничего не понимали, и товарищи их старались разъяснить им, как соль добывается.— «Лихо, бат,

колеса-те ворочаются, смотри, какие большие. Спереди-то ровно ничего: то укурнется, то вынырнет какая-то штучка, а здесь вишь ты»!...—рассуждали товарищи подлиповцев. Мальчуган погонял лошадей. «Эй, вы, черти! Пссю! Я вас!» и он бил их палкой. Как должно быть скучно его занятие погонять лошадей вокруг столба целый день, а, может быть, и неделю?.. Павла и Ивана задор взял: им завидно стало. Обоим хотелось так же погонять лошадей, как погонял этот мальчуган. Они пристали к нему попросту, как к обыкновенному деревенскому мальчугану. Мальчуган обругал их. Подлиповцы вышли. Этот мальчуган был тертый калач, испытавший нужду и горе с детства, человек заводский; а наш заводский мальчик не уступит взрослому заводскому человеку, который толковее и злее крестьянина.

Заводский человек больше зол на свою судьбу, чем крестьянин. Крестьянин (я беру государственного) работает на себя, сколько ему хочется; с него требуют только подати, спрашивают рекрута, да он должен понравиться, т. е. удовлетворить станowego. Заводский человек не то. Нанялся он в рабочие (я беру не то время, когда эти люди были крепостными и когда с ними делали, что хотели), назначили ему в месяц, понедельно или поденно плату и говорят: вот тебе работа, непременно, чтобы она была кончена. Не кончил работник к сроку работу, или прогулял несколько дней, т. е. почему-нибудь не пришел на работу, ему не дадут жалованья. Если рабочий делает не так, и мастера замечают, что он ленится, его прогоняют, не заплатив платы. И так часто заводскому человеку приходится искать работы долго и голодать, потому что он итти в старое место боится; но куда пойдешь? как оставишь свое семейство, которое живет только им одним? И вот он за какую бы то ни было плату готов опять работать на том же заводе: «пусть делают, что хотят, а я буду робить»... Он работает день, на ночь уходит домой в надежде, что получит деньги утром; не утром, а в первом часу, приказчик, явившийся посмотреть, работают ли люди, гонит от себя рабочих: приказчик человек богатый, он чувствует, что он сила, что он все, что он имеет рабов... а этим рабам есть нечего, убиваются их жены, голодают дети!..

Вот почему рабочий человек ко всему относится с ненавистью. Ни работа его не радует, ни свое семейство; он всю жизнь свою мучится: он еще в детстве знает, что он за человек, в детстве начинает привыкать к работе, и, наконец, поступив в рабочие, видит угнетение, его бьют... Ушел бы, да боится: он только и умеет дрова рубить, да сено косить, да соль варить или что-нибудь подобное, к чему он приучился еще с восьми лет.

Все заводские мальчики смышленнее крестьянских мальчиков: мальчик шести лет уже бегает по заводским улицам с другими мальчиками, с товарищами, не боится старших; видя то, что делают старшие и что особенно его забавляет и нравится ему, он делает то же самое один или с товарищами; он так же ругается, как и взрослый, и кого ненавидят старшие, того ненавидит и он.

Товарищи Пилы повели подлиповцев в варницы. В варнице печь огромная; пламя в ней так и разливается, жара нестерпимая, а мужики то и дело бросают в нее большие поленья... «Диво! Откуда и лесу-то столь добыто? Вот бы тут остаться... тепло было бы, да вон и семь мужиков, сидя в углу на земле, каждый оплетает большие гомзули хлеба, да что-то из большого котла хлебают»...

— Это што?—спросил Пила одного работника, показывая рукой в печь.

— Слеп, што ли?.. Ишь печь!

— Знамо; ровно, печь...

— Ну, и не спрашивай... Ково вам надо?

— Да мы так, поглядеть,—сказал один товарищ подлиповцев.

— Эка невидаль. Заставить бы вас поробить, так покаялись бы.

Пила не понимал: что тут трудного? уж не горят ли тут люди? «Вон поп баял, как помрешь, так в огонь, бает, турнут... и никогда, бает, не сгоришь. Вот этот огонь-то и есть»... Ему страшно сделалось.

— Подем, ребя! Ошшо спалят!—говорит Пила товарищам. Товарищи разговаривали с рабочими.

— Уж как трудноато. Не знаем—дрова в кучу скла-

дывать, не знаем—бросать в печь,—говорил один из работников.

— Эй, вы, черти! что встали? Помогай дрова таскать!— кричал один мужик, бросая в варницу дрова, привезенные на семи лошадях. Подлиповцы с товарищами стали бросать к печке дрова. Подлиповцы охотно работали, их пробирал пот, им хорошо показалось носить дрова и бросать их в кучу.

— Баско, Сысойко!..—говорил Пила осклабяясь.

— Баско...

— Ты говори спасибо: не я, так съели бы тебя тамока.

— Ну их к цорту на кулицки. А мы не пойдем отселева?..

— Коли бурлачество—баско... только лиже печь-то, огнищато эво! Спалят ошшо...

— Нет уж, в друго место подем.

— А вы откелева?—спрашивали между тем работники товарищей подлиповцев.

— А Чердынские. Знаешь Егорьевскую волость?

— Нет.

— А вы здешние?

— Мы Дедюхинские; преж казенные были, теперь вольные стали.

— И подать не платите?

— Кои года выслужили, не платят. А вы куда?

— Бурлачить.

— Плохо. Бурлачить, сказывают, ныне не то, что прежде. Пароходов много развелось. Вон прежде у нас и заведения такого не слыхали, а нынче пароходов много ходит, а там в губернском пропасть их.

Товарищи подлиповцев повели их в самую варницу. Там в огромном котле, наподобие ящика в несколько сажен длины и ширины, что-то варилось, только виднелась седая пена, которую изредка мешали рабочие; над котлом разные перекладыны поделаны да доски; на них не то снег, не то что-то серое и что-то каплет в котел с досок. В одном месте рабочие бросали лопатками пену на эти доски. В правом углу, при входе, из стѣны что-то черное уставилось и от него жолобок к котлу сделан. Сысойко дернул за крац; потекло черное, густое, небаско пахнет...

— Што-же это?—дивился Сысойко.

— Это рассол...

— Не замай! Што трогаешь!—закричали на Сысойку работники и, оттолкнувши его, завернули кран. Пила и Сысойку пристали к рабочим.

— Это што-же?

— А вы куда? Сюды нанимаетесь?

— Нет. Мы бурлачить.

— Ишь ты...

— А ты скажи: што это за штука?—спрашивал Пила, указывая на котел.

— Это—котел. Вот оттудова, где крант-то, чт очерное-то бежит, рассол сюда пускаем, он переваривается в котле-то, потому, значит, под котлом-то печь... А это в верху-то полати, тут соль делается. Опосля она в амбары сыплется.

— Так это соль-то и есть?

— Она и есть.

Один работник достал с полатей на лопату соли и показал Подлиповцам:—Вишь какая!

— А ты дай нам соли-то!

Работник дал. Пила склал ее в мешок, в котором был хлеб.

— Да ты заверни чем-нибудь соль-то, она хлеб испортит.

— А пошто?

— Сырой сделается.

Пила не знал, что делать; неловко, как хлеб испортится; «выбросить разе соль-ту», да жалко соли-то попуститься. «Дай лучше съедим». Подлиповцы расположились есть хлеб, посолив его круто солью, до того, что есть вовсе нельзя было. Однако, они соль эту ссыпали на другой кусок. Наевшись, подлиповцы еще попросили соли и завязали, каждый, по равной части, в концы пол своих полушубков, спросив предварительно: а ничего, не съест соль-та?..

Всему дивились подлиповцы в варнице, все их забавляло; хотелось им остаться тут, да товарищи торопили их к реке. Они пошли. На берегу реки и на льду ее работали барки, полубарки и баржи крестьянами. Подлиповцы в первый раз видели все это.

— Видишь эти штуки?—спросил один товарищ Пилу. Пила посмотрел: домины не домины, а с окнами, трубищи огромные, по середине ровно колеса.

В реке стояли три парохода.

— Это вот барки; на них мы и поплывем. А эти вот, с колесами-те, то и есть, што мы баяли: больна прытко бегают и волокет за собой много... много...

— Э, да ты прокурат! Ну как на колесах по воде бегать-то? Подико не знают!..

— А так.

— Ну, не мсрочь. Вон я сколько раз был на реке Каме, так там колес-то нету, а вон эдакие устроены,—говорил Пила, показывая на одну лодку.

Все подошли к пароходу. Пила и Сысойко сначала боялись подойти.

— Не ходи близко, пырнет!—говорил Пила Сысойке.

— А ты подойди!

— Я подойду.—А сам ни с места. Однако, видя, что товарищи их, а также Павел и Иван, подошли близко, они спросили товарищей:

— А ничего, подойти-то можно?

— Можно, не укусит...

Пила и Сысойко подошли.

— Он, братцы, железный,—говорил один товарищ.

— Вре?

— Пра! И как бежит—свистит... ужаси!

— Ах чорт!—дивились Пила и Сысойко.—Как же он с колесами? Да и колеса-то какие-то другие, а не наши... Там поди лошадь где-нибудь спрятана...

— Это вишь ты для виду колесо, а выходит, по здешнему, перья. Как пустят его, он и почнет загребать и почнет... да так скоро, мигнуть не успеешь.

— А пошто он теперь стоит?

— По то: река замерзла. А как пройдет лед, он и побежит.

— А скоро?

— Когда тепло будет.

— А таперь побежит?

— Таперь нельзя, ишь привязан. Подлиповцы посмотрели на канат: толстая штука; им в первый раз приводилось видеть подобную вещь. Они захохотали.

— Силен, собака. Ишь какую веревку-то на него надели... А как он да перегрызет?..

— Летом убежит... Летом, бают, он на цепи стоит: якорь такой с цепью бросают в воду.

— Ах чорт! ах леший!

Долго дивились подлиповцы над пароходом и плохо поняли, что это за штука такая. Потом они пошли к баркам.

— Это што?—спросил Пила, указывая на большое пространство, занимаемое рекой.

— Это—река Кама.

— Вре! Да Кама и у нас есть, только далеко, два дня ходу.

— Это все Кама.

— Экая цуцело!..

— Куда Бог несет?—спросили их рабочие.

— Бурлачить.

— На Чусовую пробираетесь?

— На Чусовую.

— А вы какие?

— Чердынские.

— Так оно. У нас есть чердынские.

— Кто?

— Да с Прокопьевской волости двое, да из Чудиновской семеро.

— Ишь черти! А у вас нет ли чего робить?

— Теперь нету. А вы на базар ступайте, там много бурлаков. Бают, приказчик какой-то скоро будет нанимать на Чусовую.

— Ладно... А вы почем робите?

— Да рядились по пяти рублей, только опаска есть, как бы не обмишурились. Вон в прошлую зиму робили, робили, а получили только три рубля.

— А эти мальченки-то с вам?

— С нам.

— Ой не возьмут!

— Спехаю,—говорил Пила про своих детей. Подлиповцы с товарищами пошли на рынок.

На рынке они увидели до шестидесяти человек крестьян, одетых очень бедно, с котомками на плечах. Все они ходили по рынку, глазели, очень мало покупали, потому что у многих не было вовсе денег; многих из них занимали безделицы, удивляло то, что для сельского жителя нисколько не удивительно. По выговору их, по одежде, по обращению заметно, что они не здешние, а пришли откуда-то издалека и чего-то ищут, или куда-то идут еще дальше. Над ними смеялись торговки, смеялись над их выговором и непонятливостью даже уличные мальчишки села.

Все эти люди были так же бедны, как и подлиповцы: нужда, бедность края, неуменье работать заставили их покинуть свои семьи и идти в бурлаки с таким же убеждением, как шли подлиповцы и их товарищи. Каждому, как видно, опротивела родная сторона, хочется чего-то хорошего, хочется раздолья, хочется хорошо поработать, хорошо поесть, хорошо поспать... Здесь были крестьяне северо-восточной части Вологодской и восточной части Вятской губернии, смежной с Пермскою: там, при всевозможных усилиях, как и в Подлипной, от холода не добывается хлеба, а сбыта материалов очень мало. И вот они, наслышавшись от других крестьян, что есть хорошее занятие—бурлачество, работа легкая: знай плыви, дают деньги, еда вволю, люди все разные, местности хорошие,—пустились наудалую в путь бурлачить по Каме, как к ближайшей реке от их родины, на которой с давних пор бурлачило несколько десятков тысяч крестьян каждое лето...

После вопросов, куда и откуда, подлиповцы и товарищи их пристали к толпе. Первый день и второй день прошли весело. Подлиповцы, вместе с прочими крестьянами, ходили по селу, дивились над хорошими домами, ходили в варницы, на реку, помогали даром работникам; плутали по селу, отыскивая свои квартиры. Большую часть дня спали в постоянных избах и в избах бедных сельских жителей. На третий день

у подлиповцев не было хлеба. Они насобирали хлеба и по несколько копеек денег у сельских жителей; им начала надоедать эта праздная жизнь; им хотелось скорее дойти до бурлачества. Но вот уже четвертый и пятый день прошел, а они все ходят по селу; крестьян прибывает все более и более... Все эти крестьяне—жители разных деревень и знакомятся друг с другом очень просто: спросили, куда и откуда, и конец. В друг друге они видят подобного себе человека, знают, кто, куда и зачем идет, знают, что цель у всех одинакова: говорят они друг другу о своих нуждах; сообщают свои понятия о том, что их интересует; едят вместе в домах, где их квартиры; делят пополам хлеб и вместе спят, где придется, не разбирая и того, что товарищ не их деревни и, кто его знает, хороший он, или худой человек. По имени друг друга редко называют. Они знают товарища по лицу, а в имени—что толку: он ему не брат, не родня, а так сошлись, веселее вместе. Обругать и осмеять друг друга тоже ничего не значит; и подерется кто, все как-то веселее, словно шутя: никто не сердится, а напротив, других это забавит. Если у бедного и больного человека нет хлеба, другой товарищ сжалится над ним, отдаст ему излишек, надеясь сам добыть хлеба хоть милостинкой, да и товарищу хорошо от этого ведь и он может быть без хлеба и ему при случае поможет его товарищ. Если у кого есть деньги и он привык употреблять их на водку, то он один не выпьет, а позовет товарищей, которые ему особенно нравятся или с которыми он живет на квартире. Так у всех этих крестьян были по два и по три хороших товарища, и все они, сойдясь на рынке, были как старые знакомые; конечно, не снимали шапок и не жали руки, а начинали разговор прямо.

— А ты, поштенный, што рот-то разинул!

— Э! ништо.

— Гли, баба-то как стерелещиват! *)

— Эк ее разобрало.—Все хохочут.

— Экой конь-то баской!

— Запречь бы его бревна возить!

*) Бэжит.

— А што, ребя, сдюжит ли он, как запречь его вон дрова в варничи возить?

— А пошто?

— А не сдюжит. Ишь, кака штука-то запрежена, легонькая, махонькая, пиголича...

— Не сдюжит.—Все хохочут.

И все в таком роде.

Пила и Сысойко так свыклись с своими товарищами, что постоянно ходили с ними, ели и спали на одной квартире. С своей стороны и те не отставали от них, и если у кого-нибудь не было хлеба, то другой товарищ уделял свой излишек бедному.

Но никто так не жил дружно, как Пила с Сысойком, Павел с Иваном. Об отношениях Пилы к Сысойку и наоборот мы знаем. Надо сказать и об детях Пилы. Развитие их началось с тех пор, как отец повел их в город. В деревне их уму не предстояло развития впереди; они бы выросли так же, как и Пила и Сысойко; в городе они увидели других людей и узнали, что там живут разные люди; они видели, как ихнего отца заковали и вели со связанными руками по городу, и, узнав от людей, что это делается только в таких случаях, когда люди убивают и грабят, они поняли, что их отец—плохой человек, что как он ни бахвалится, а есть люди лучше его. С этих пор отец стал казаться им как обыкновенный человек; он и Сысойко казались им даже смешными, и если они шли за ними, так только из привязанности к Пиле и Сысойке, да и куда денешься без них? К тому же они шли куда-то в хорошее место, а что им оставаться здесь или в Подлипной? Видя городских девушек, красивее и опрятнее подлиповских, ребята подумали, что подлиповские девушки хуже, вот бы с этой жить... Чем дальше шли ребята, тем больше работали их головы. Они бывали во многих деревнях; деревни были лучше Подлипной, в избах тоже лучше и девки лучше. В селе их интересовало и забавляло все, и они старались понять, что это за штука такая? Почему здесь так, а в Подлипной и в другом месте иначе? Но что они могли понять, когда и отец, и товарищи отца сами не знали, почему это и зачем так. Вот они стали спрашивать сельских жителей,

большею частию рабочих; те, хотя с бранью, но растолковывали им. После этого ребята долго толковали между собой и кое-как понимали. Например, они поняли, что рассол добывается посредством лошадей, что у лошадей больше силы, чем у людей, и человеку-мужику без лошадей плохо. Это они узнали так. Встали они против насоса. Насос был в бездействии. Подошли к дверям,—лошадей не было. Они попробовали вернуть колесо, но не повернули. В другом месте лошади были в действии, и насос был в действии. Короче сказать, они более понимали, чем их отец Сысойко и Матрена, которая решительно ничего не понимала, а только охала. Поняв что-нибудь из слов сельских жителей, они сообщали отцу, который не верил им. Ребята, после того, как он раз выругал их, когда они сказали ему: тятка! робь лучше здесь, а бурлачить, бают, трудно,—не стали больше говорить ни ему, ни Сысойке, ни Матрене того, что им казалось хорошо и что было бы хорошо и тем. Бурлачество их не манило почему-то; им лучше нравилось жить в селе, но как отстать от отца? «Уж пойдем, там, бают, город баской есть, там и останемся»...

Теперь жизнь им казалось лучше, их тянуло на улицу; они поняли, что прежде они хворали от коры, теперь едят хлеб, и потому теперь хорошо. Одно только не хорошо, ноги устают. Братья постоянно были вместе, часто ходили по селу одни, говорили без умолку, спорили, дрались между собой и с сельскими ребятами, которые их очень дразнили, ругали и раззадоривали на драки и которые им весьма не нравились.

— Уж мы туда не подем!—говорил Иван Павлу, показывая рукой в ту сторону, откуда они пришли.

— Пусть тятка идет, а мы нет.

— А Агашки не жалко?—спросил Павел Ивана.

— Ну ее к чертям! Здесь смотри, девки-то.

— Баские, а там што...

— А ты, Пашка, не отставай от меня.

— Ты не отставай. Вместе лучше.

— Мы с тяткой не подем... и с мамкой не подем.

— Куды подем?.. подем ошшо...

Часто им доставались колотушки от бурлаков за любопытство и за то, что они не давали собираемого хлеба, которого у них было всегда больше, потому что им меньше отказывали. Они вывертывались от бурлаков и ругали их так же, как и большие. На ругань не обращалось внимания ни отцом, ни прочими бурлаками, так как бранное непечатное словцо было для всех обыкновенным, как в дружеской беседе, так и при удивлении, и как ласка; им выражалась и злость, и досада, и радость. Бранными словами даже ночью бредили спящие бурлаки.

Своего отца Павел и Иван не боялись и не слушались. Скажет он им: «подите хлеб собирать!» один из них и говорит: «поди сам собирай!» Он их обругает, а они ему язык кажут. Он их бить, а они барахтаются.

— Ах черти!—ворчит Пила.—В меня вы, стервы, уродились, сильные будете...—Пила даже радовался, что ребята его умеют драться, и всегда отнимал у них хлеб с бою, при чем, конечно, ребятам больно доставалось.

О Матрене нечего сказать. Она постоянно сидела или лежала на полатах да говорила с хозяйкой, большею частию, о подлиповцах и Апроське.

На пятый день Пила увидел в толпе прибывших вновь крестьян своих однодеревенцев, Елкина и Морошина, прозванных по-подлиповски Елкой и Морошкой. Пила обрадовался. До сих пор он редко вспоминал подлиповцев, даже стал забывать Апроську!

— Вот они!—весело вскричал Пила Сысойке.—Ах вы лешие! Бурлачить?

— Бурлачить.

— А пошто?

— Да Пилы нет, што за жизнь,—говорил Морошка.

— А ребята как?

— Баба в городе осталась и ребята с ней.

— Есть деньги?

— Есть.

— Украл?

— Украл.

— Ах леший, леший! А со мной-то что было, ужаси!

Пила начал рассказывать, как его избили, и повел своих однодеревенцев в питейную лавочку.

— Уж мы все знаем,—говорили прибывшие подлиповцы.

— Ну, ошшо не все померли?—спросил Пила Морошку.— А Агашка жива?

— После твоей Апроськи, парень да девка Тычинки померли... Агашка ушла с бабой,—куды-то в дом робить взяли.

— Ишь ты... А поп?

— Што с ним... Да я, почесь, и не видел его.

— А как... сам зарыл?

— Сам.

— Ну, таперь кто там у те?

— Да жена.

— А околиет?

— Пусь.

— Ах, чучело!.. жалости в тебе нет.

— Так теперь кто там? Корчага да Кочеражка?—спросил Сысойко.

— Итти тожно тоже хочут совсем: уйдут тоже, и моя баба с ними.

— А ты бы и взял их!.. Ну ужь, и край! Кто же в Подлипной-то останется?

— А собака!..

— Эво! И собаку с собой надо. А дома-то как?

— Дома? Эко диво! Што с домами-то?.. Помрут?

Подлиповцы стали ходить вместе с товарищами Пилы и составили особую толпу.

— Мы, ребя, тожно все пойдем. Смотри не отставать, а што Бог даст, все пополам, усовещивал Пила своих однодеревенцев.

— Ужь не бай; ты голова, не нам чета.

Наконец, приехал приказчик из Шайтанского завода за наймом бурлаков. Около Шайтанского и прочих заводов хотя и есть крестьяне, но они считают за лучшее остаться дома, а крестьяне других северных уездов губернии рады

за небольшую плату наняться в бурлаки. Бурлакам платят от 8-ми до 15-ти рублей за сплав барки от завода до Елабуги и других городов выше Нижнего, откуда металлы сплавляются уже пароходами.

Крестьяне, числом около ста, собрались на рынке. Пришел приказчик. Крестьяне шапки сняли.

— Вы бурлачить?

— Бурлачить.

— Кажите паспорта.

Паспорта были у двадцати человек, преимущественно крестьян Соликамского и Чердынского уездов.

— А у вас есть паспорта?—спросил приказчик остальных.

— Батшко, не губи!.. Каки тут еще паспорта?..—вопили крестьяне.

— Беспаспортных мне не надо.

Крестьяне в ноги ему поклонились.

Долго возился с крестьянами приказчик.

Не понимают они его. Ему каждый год приводилось возиться с ними, и он все-таки обделывал дело: сам ездил в волости, выправлял паспорта бурлакам и вносил за них деньги. Теперь он заключил со всеми крестьянами контракт; отобрал паспорта, у кого они были, дал паспортным по рублю, а беспаспортным по полтиннику; велел дожидаться его, а сам отправился в их волости.

После отъезда приказчика все крестьяне загуляли. Загуляли и Павел с Иваном, которые, хотя и были всех моложе, но тоже попали в бурлаки и получили по 30 коп. Целую неделю кутили бурлаки, до тех пор, пока не издержали все деньги. Да и промысловые рабочие то и дело подговаривали простаков на выпивки и угощались на их счет сами. Но когда у бурлаков не стало денег, рабочие два вечера сряду угощали их на свой счет,—за что промысловые рабочие очень понаравились бурлакам. Павел и Иван купили себе лапти и валенки, а остальные деньги проели на булках. Одна только Матрена скучала, ее не приняли в бурлаки. Она поступила работницей на варницу и содержала Пилу, Сысойка и детей.

Три с половиной недели бурлаки ждали приказчика. В это время они хотели уйти, но их отговаривали промысловые рабочие тем, что теперь уже нельзя, так как получены ими задатки. Большая часть их работала на пристанях, у барок и у варниц, и только небольшими заработками они пробивались в селе.

Наконец, приехал приказчик. Он пересчитал всех крестьян, записал их снова, показал им паспорта, взятые на полгода, выбрал из них четверых в лоцманы; дал всем, кроме лоцманов, по рублю денег, а лоцманам по три рубля; вел идти в завод. Уладивши все с крестьянами, приказчик уехал.

Приказчиком было нанято еще более ста человек, только на самых местах, в селах и деревнях Вятской губернии.

Все крестьяне, накупив по две пары лаптей, по три ковриги хлеба, соли, наелись на ночь сытных щей, крепко уснули, а утром, вставши до свету, закусили крепко на дорогу, увязали плотнее свои котомки, собрались за селом и тронулись в путь.

Матрена долго следила за подлиповцами. Идут они, идут в большой толпе... вон Ванька да Пашка оглядываются и утирают слезы... Не взяли Матрену! заплакала она и ушла в варницу... Один только Тюнька не знает теперь горя: он рано встает с маленькими хозяйскими детьми, и как только встанет он да хозяйские дети, и начинается у них беготня да игры. Хорошо еще что хозяйка, мастерская жена, добрая и есть с кем Тюньке порезвиться, а не будь ни этой хозяйки, ни детей ее, что бы случилось с Тюнькой и Матреной? Как бы она стала работать с ребенком? А работа ее такая: дрова она в варницу таскает, да из варниц в амбары соль на плечах по длинной лестнице носит. Трудная работа досталась Матрене...

II.

Бурлаки.

Итак, наши подлиповцы отправились бурлачить с товарищами.

Всех шло сто тридцать один человек. На подлиповцах такая же одежда, в какой они были в Чердыни и в Усолье. На прочих товарищах или такая же одежда, как и у подлиповцев, или разнообразная: тут были полушубки из разных шкур, большею частию распластанные, в лохмотьях, без заплат, или просто изорванные сермяги, поддевки и что-то среднее между сермягой и поддевкой, называемое просто гунькой; у всех разнообразные шапки, хотя повсюду и одинаковые: большие из шкур или войлочные наподобие горшка; на руках у каждого рукавицы, или кожаные, или из шкур, или шерстяные; на ногах у каждого лапти. У каждого на спине висит котомка с хлебом, кое у кого с разным тряпьем. Ниже котомки болтаются по паре или по две пары лаптей. Спасибо еще приказчику, который нанял их бурлачить: он не поскупился дать каждому задаток; не дай он денег крестьянам, как бы они пошли в дальний путь без хлеба и лаптей?

Все они шли до сборного места, т.-е. завода, целых три недели, и шли, как некогда шли евреи по пустыне Аравийской, с тою только разницею, что это были русские крестьяне, бежавшие от своих семейств. Шли они врассыпную по большим и проселочным дорогам, узким тропкам; плутали по целым дням в незнакомых местностях; ругались, мерзли, дрались и даже раскаявались, что пошли.

Их взяли вести четыре лощмана, уже несколько лет занимавшиеся бурлачеством и знавшие все станции-при-

стани от Чердыни до Нижнего и от Билимбаевского завода до Перми; но у этих лоцманов не было согласия в выборе дорог, каждый из них жил в разных местах зимой и отправлялся на Чусовую своими дорогами; сошедшись вместе, каждый хотел идти по своей дороге.

Вот, наконец, они согласились; все крестьяне идут за ними. Идут они два часа, едва-едва переступая ногами, не торопясь, разговаривают, поют песни грустные, долгие и тяжелые, а больше молчат. Проезжающие заставляют их сторониться, и кто из ста человек не успел своротить с дороги, того ямщик хлещет витнем. Крестьяне ругаются, хохочут и лезут драться. Одному почтовому ямщику плохо пришлось от них за витень, и крестьяне убили бы его, если бы не вступился почтальон и не разогнал их саблей. Всех забавят звон колокольчиков и шубы проезжающих бар. Они сначала дивятся, потом хохочут. Всем как-то весело и кто поотстанет от толпы, догоняет ее. Подлиповцы идут особой кучкой. Они увлекаются разговорами товарищей, их хохотом, тешатся над выговором татар и черемисов; собственные несчастья они начинали уже забывать.

Но вот дорога делится на двое. Вся ватага стала.

— Кажись, сюда таперь?—спрашивал один лоцман.

— Нет, не сюда, а сюда,—говорит другой лоцман.

— Нако-ся! Таперь по этой, по левой надо: тут село будет,—говорит третий.

— Эво! Што у те шары-те чем заволокло? Вот как подем по этой, по правой—тут и будет деревня, три версты и всего-то!—говорит второй лоцман.

— Молчи! Тебе бают—село а ты баешь—деревня...

— Медведь ты раменской!.. Тебе говорят—деревня... как войдем в нее, и сворачивай налево,—говорит четвертый лоцман.

— Да будьте вы прокляты, лешие! Привычки у вас нет, обычаю... Мы десять годов по этой дороге хаживали. Черти вы, дьявольские!—ругается второй лоцман.

Остальные лоцманы задумались:—а что если он правду говорит?

— Смотри, не обмишурься... Право, знать эта дорога-то?—говорит первый лоцман.

Часть бурлаков (бывалые) пристаёт ко второму лоцману и говорит:—а, бат, дорога-то на лево! Веди!—К ним пристаёт еще человек тридцать. Пристют и остальные. Начинается брань беспощадная, крик...

— Что братцы, горло дерете? Коли вы другую дорогу знаете,—пошли... Мы восьмой год ходим, знаем...

— И я восьмой! и я шестой!.. кричат остальные путешественники.

— Ты води толком!—кричит Пила.

— А я уйду тожно!—кричит первый лоцман.

— Ну, и иди, чорт! што пристал?—кричат бурлаки.

— Ребя! валяй его!.. бей!..

Первого путешественника окружает человек сорок. Он старается всех урезонить. Бурлаки не верят. Остальные лоцманы-путешественники идут по левой дороге. За ними идут и прочие. Попадаетеся им крестьянин с дровами. Он знает, кто эти люди.

— Эй, братан! эта дорога на Чусовую?—спрашивает крестьянина один из лоцманов.

— А вы бурлачить?

— Бурлачить.

— Э! Ступай вкось, там и будет река Яйва.

— Вре! А мы ее не прошли?

— После завтра будет.

— Ах-ты (следует непечатная брань), да ведь Яйва в Каму бежит?

— А куды не то?.. Кама-то эво што!.. Вы бы и шли по Каме.

— А ништо, подем по Каме!—говорит один лоцман.

— Ступай. Элак мы скорей придем: там еще будет Косва да Усва, а потом Чусова.

— Ну, и подем.

Тронулись по левой дороге. Пришли в деревню. Ночевали. Утром тронулись в путь по правой дороге. К вечеру пришли в эту же деревню... Ночевали. Утром пошли по левой дороге.

— Ишь ты, леший!—ворчат бурлаки.—Да ведь мы были тутотка?

— Где, в деревне-то?

— Ну!

Слеп! Деревня то совсем другая:—в той семь домов, а в этой восемь, говорит один лоцман. Бурлаки верят и не верят. Лоцмана спорят и все-таки идут вместе все. Наконец, пришли и к Яйве. Река не широкая, покрытая льдом, занесенным снегом.

— А это што?—спрашивает Пила, указывая на пространство, занимаемое рекой.

— Это река, бают,—отвечают ему бурлаки.

— Кама?—спрашивает Пила.

— Нету. Кама вон де,—указывая рукой на север, говорит бурлак. Пила дивится.

Все стоят на берегу реки и спорят, как итти: направо по речке или налево.

— Мы, таперича, как подем налево, и Чусова будет,—говорил один лоцман:—олонись я не был здесь,—добавляет он.

— Ну, это ошшо тово оно...—говорит другой лоцман.

— Вот если бы таперича вскрылась река, да барки бы если пошли, ну и узнал бы, в кою сторону путь держать,—говорит первый лоцман.

Холодно. Все спускаются на лед; всех продувает ветер. Идут кто направо, кто налево, кто за реку. Все тонут в снегу и ворчат.

— Да вы ладом ведите! По Яйве-то никто не бурлачит, и мы в Яйве-то ни разу ни шли, а переходили только,—ворчит один бурлак. Лоцмана ведут всех узенькой дорожкой, попавшейся за рекой. Бурлаки радуются. Пришли в деревню к вечеру. Поели, выпались, утром тронулись в путь. День шли хорошо, пели песни или молчали. К ним пристало несколько зырян. Увидев кучу бурлаков, зыряне спросили:—кыдче муан*)?

— Бурлачить!—было ответом. Зыряне пристали.

В толпе были тоже зыряне и между ними завязался разговор.

— Илыся лок тысь? **).

*) Куда пошли?

**) Издалека шли?

— А Ежва, кырныш *).

Опять попалась река. Бурлаки обрадовались.

— Вот она, Чусова-то!

— Вре! Экая махонькая?

— Эта, братцы, не Чусова, а Косва. Там еще будет Усна, вот по той мы и пойдем в Чусовую.

Бурлаки успокоились, перешли реку и тихим шагом пошли за своими путеводителями. На третий день после перехода Косвы вышла ссора.

Все шли они по одной узкой дороге; ладно. Вдруг дорога разделилась на три части. По которой итти? Лоцмана забыли. Все стоят.

— По этой?

— Нет, по этой.

— Знаешь ты черну немочь! По этой...

Лоцмана дерутся. Их окружают бурлаки.

— Бей ево!.. Вот так!.. ну-к оишо!.. слышится со всех сторон.

Один лоцман убежал по левой дорожке. Его пошел догонять другой лоцман. Половина бурлаков идут за этими лоцманами. Два оставшиеся лоцмана уговаривают остальных бурлаков итти за ними.

— Пусть они идут по той! Уж так-то ли заблудятся, эво как!—говорит один лоцман.

— Ну, а ты и веди, коли мастер, а я пойду с ним...—говорит другой лоцман.

— И чорт тебя бей! А мы как раз дойдем и по своей...

Бурлаки советуются, как им итти.

— Те поди ладно идут, а мы-то как?

— Подем тожно с ним.

Однако лоцмана ведут своих товарищей по той дороге, по которой ушла недавно половина бурлаков. Прошли с версту, а тех бурлаков не видать. Прошли они две дороги, наконец, на третью свернули и пошли.

— Куды же те-то побегли?

— Черти...—ворчат лоцмана.

*) Река Вычегда, называемая зырянками Ежвой. Кырныш—ругань.

— Надо бы нам повернуть по той дороге, что впервые попали.

— Кто его знает... И места все другие, ни разу не был здесь.

— И я тоже.

Вот подошли они к большому полю. Дорогу занесло снегом; ветер сильный, резкий. Бурлаки ругаются и идут по полю, оставляя за собой следы большими зигзагами. Идут они час, все нет конца. Что за чорт?—ворчат бурлаки. Их обуяла лень... Итти не хочется, а хочется попасть. Останавливается один бурлак, за ним останавливаются все. Садится один на снег, все садятся... Развязывает котомку один, все развязывают свои котомки.

— Подем назад!—кричит один.

— Айда!—кричат двадцать человек.

— Баял, не ходи с ним!..—ворчит Пила.—А пошто назад-то?

— А пошто? А подем...—было ответом.

— Братцы, пойдете, ночь, поди, скоро.

Бурлаки боятся ночи.

— А ты веди, пес!—кричит Пила.—Куда ты завел в окоу чучу!

— Пырни его! пырни!—кричат бурлаки на лоцмана.

— Пойдете! право, скоро конец, за этим полем и конец.

— Помрем!—говорит Пила.

— Не помрем, а река будет. А назад подете, заблудитесь.

— Ну, и подем. Уж много шли, ишшо подем,—говорит Пила. Все идут. Посыпал снег, ветер стих. Снег залепляет глаза, только и видно, что снег да товарищей, а что кругом товарищей—Бог весть. Бурлаки злятся, смотрят на свою одежду, она в снегу, словно в муке купались. Все устали.

— Ребя, вон лес!—кричит один из толпы. Все повеселели. Бродят около лесу и блуждают. Отыскали дорогу, к ночи спустились под гору и под горой уснули. Закусивши утром, опять идут, дорога опять делится на две дороги. Просто чорт знает, что такое.

— Ну, уж и времечко! Прже, как понешь, и конец скоро, а таперь сколь исходили...—говорит один лоцман.

— Оттово все, што не так пошли. Говорил, надо трактом итти, а то мало ли дорог-ту!—ворчит другой лоцман.

— Экие лешие, куды завели. Все леса да леса, да горы какие-то. Эвон гора-то, чучела какая!—ворчат бурлаки.

— А мы подем на гору-то? Там поди баско!—говорит Сысойко.

— А и поди, попробуй!.. Там таперь видимо-невидимо медведев засело,—замечает Пила.

— Што медведи, волки поди стерелешивают*)... Ужаси!—замечает бурлак.

— А што, бат, здесь, поди, много медведев?

— Столько—беда!

— Вре?

— Видал ономеднись. Стадо^т целое.

— Вре?.. И не съели?

Бурлак-хвастун, не бывший никогда в этих местах, улыбается и того больше врет.

— Как хватил колом, вон эдаким, одного—и издох, другого хватил—побежал, и те побежали.

— Вре?.. Ишь ты!

Разговор идет о медведях, кто сколько на своем веку медведев убил. Всякий старается перебить товарища рассказом; кто врет, кто говорит правду. Больше всех врал Пила.

— Ты вот по-моему сделай,—говорил он.—Одново раз лето иду, знашь, лесом: а лес-то эво! не здешний, иное дерево и не охватишь, выше этого, густо... А со мной, знашь лом был. Ну, иду да собираю грибы... Собирал так-ту, много набрал. Баско! и нашел на медведя, спит... А медведь-то эво какой! Таких в первой увидел. Вот я, знашь, на цыпочках и побег к нему и хлоп его по башке... и хлоп!.. И пику не дал!..

— Да он поди издохлой^т какой?

— Издохлой!.. Как бы не так! А пошто я ево хлеснул?..

*) Бергут.

— Значит, ты слеп был, или другое что... может спугался?

— Ну, уж кто другой спугатся, а я—шабаш!

— Да он, поди, медведь-то, мухомора обтрескался!

— Сказано—убил!—кричит Пила, сердясь.

— Знамо, издохлова.

— Поговори ты, собака!

Бурлаки хохочут и дразнят Пилу:

— Знамо, издохлова медведя убил.

— А што, если таперь медведи прибегут?

— Сюды-то?

— Ну... съедят нас, али нет?

— Ну, таперь шабаш. Нас-то эво сколь. Как закричим и прогоним, и чорт его не догонит...

— И топоров-то ни у кого нет.

— А мы закричим. Побежит...

Пришли они в деревню. В деревне сказали им, что они не в ту сторону идут к Чусовой. Пошли опять бурлаки назад отыскивать настоящий путь. Опять сбились с дороги. На другой день встретились с толпой других бурлаков.

— Вон они, лешие!—сказали обрадованные на и бурлаки.

— Это не те, другие.

— И то.

— А вы откедова?

— Вячки.

— Вячки ребята хвачки, семеро одново [не бояча!—сострил один молодой бывалый бурлак.

Эти бурлаки знали дорогу лучше наших бурлаков, и все скоро добрались до Чусовой.

Река Чусовая была уже оживлена в это время. В нескольких местах, на льду и на низких берегах ее, на полях строились барки и полубарки; воздух оглашался стуком топоров, криком крестьян. Подлиповцы с товарищами пошли берегом. Здесь итти им было весело: везде народ, есть с кем и слово перемолвить, есть кого и спросить, куда итти и далеко ли еще, и народ такой добрый. Река в этом месте

узкая; по обоим сторонам ее или высокие крутые берега с нависшими деревьями и скалами, или с одной стороны крутой берег—гора, а с другой низина, поле. В местах, где крутые берега с обеих сторон, было мрачно и страшно. Бывалые бурлаки рассказывали разные ужасы и страхи.

— Вишь, эта гора-то какая, мату ка! А бед от нее много бывает... Вот она теперь ровно впереди, а как подем, она углом будет, ровно кто топором обрубил... Тут беда баркам. Как поплывет это барка и хлопнется о гору, так ее и шарахнет, а место беда, бают,—дна нету...

— Бают, тут сидит кто-то. Чорт не чорт, а уж больно сердится. Бают, у него в лапах-то стресогласка.

— Что сидит! Коли сидел бы—словили; нынче, бают, начальство строго. Вот таперича штуки поделали, чтобы нам ловко было плыть. А без эвтих штук беда была, потому река ужь такая бурливая, да камней в ней много,—говорил один лоцман.

— Экая гора-то! Ах ты, какая высь!—дивятся бурлаки.

— Вот где мы идем!—говорит весело Пила.—Эк баско! А там поди ищище лучше.

В этих местах им приходилось идти даже ночью, потому что не было не только что деревень, даже людей, кроме их, и ни одной барки. Здесь им казалось страшно: они боялись не медведей, а чего-то иного. Впереди, позади,—кругом все горы, а сверху небо черное и звезд не видать.

— Ребята, тихонько иди. Смотри, полонья,—говорил кто-нибудь.

— Да мы бы спать.

— Ну, нет. Смотри, какие богародни стоят вон там. Кое-ва-дни такие же были...

В левой стороне видится что-то белое, большое такое. Немного выше—не то церковь, не то кто его знает, что такое. И таких видов много. Бурлаки боятся подойти. «Убьет!» говорят они и делают от таких мест большие круги.

— Боязно, братцы! Теперь-то еще што, а прежде, бают, ужаси бывали. Вон, рассказывают, жил здесь Ермак, атаман-разбойник, людей убивал, беда!.. Он, рассказывают, Сибирь в полон взял,—рассказывал лоцман.

- Все один?
- У него сила была огромнеющая. Люду сколь было, все разбойники...
- А он таперь где?
- Помер, сказывают... Сказывают, утонул.
- Вре! А он поди спрятался там на горе-то?
- Сказывают, потонул! У него, слышь, зипуна-то не было, а он железо носил.
- Пра?!. Вот так сила!.. Как хлобыснет, и помрешь?
- Ну уж, он сидит поди таперь, смотрит шарами-то. Это смотри, не он ли—экой высокой, да белой, ишь как устроился *)!..
- Это дерево, а то вон камень выдался.
- Ну уж не ври, это он... Подем, поглядим?
- Ну-ко поди, он те задаст! Как пырнет камнем-то!..
- Бурлаки дали круг. И долго толковали бурлаки об Ермаке, не зная его, а только наслышавшись о нем от бурлаков же.
- Наконец, кончился их путь. Они пришли к заводу.

На берегу было множество крестьян: кто пилил бревна, кто рубил, кто строгал, кто гвозди и скобки вбивал; дотраивались барки, коломенки и полубарки. Подлиповцев и прочих бурлаков сосчитали, поверили и выдали им по десяти коп. денег. Купили они хлеба, надели новые лапти, взяли господские топоры, железные лопаты и прочие необходимые инструменты для скорой работы и стали работать.

Всюду работа кипела. Каждый человек что-нибудь да делал, и если кто не умел топором, то гвозди вколачивал, снег отскребал, или доски таскал. Кажется, барку нехитро сделать, а нашим бурлакам больно мудреною казалось эта штука. Они не могли надивиться, как это такая штука построена? с которой стороны ни подойди, везде гладко, только железки какие-то вбиты, и вся из досок сделана да бревен.—«Вон у нас избенки-те не так делаютча, как хошь,

*) Долго и строго смотрит на один предмет.

так и перевернешь бревно и приладишь, а тут все инако. И куда экая чучела? дом не дом, а кто ее знает; куда она годна?.. Дай мне—не возьму. Пра, не возьму!..»

На бурлаков кричали мастера:

— Что стоишь: робь! Деньги только даром берете, разбойники!

Бурлак почешет один бок, спину и пойдет с топором к барке. Что ему делать? Вот он видит, лежит доска. Баская доска-то, да верно рубить велят, и бурлак начинает рубить доску без цели, а так, думая, что и он рубит.

— Пошто ты доску-то рубишь, пошто? Я тебе!..—кричит на бурлака мастер или работник.

Бурлак отходит от доски и глядит на прочих.

— Что стал? Робь!

— Да што рубить-то?

— Што! Подь, обгони бревно... У, лентяи! скоты! и т. д. И пойдет бурлак рубить бревно и изрубит его так, что оно на дрова годится.

— Ах вы бестолочь! Я вас!.. Поди, притяни доску.

Один бурлак не совладеет, он и взять не умсет доску, с которого конца ее приложить; вот и возьмутся человек шесть-семь держать доску.

— Ладь, ладь! Што стали!

Бурлаки прилаживают.

— Не так!.. Сюды!!

Бурлаки смотрят на доску. Доску берут еще человек пять. Доску приладили.

— Напри брюхом!

Наперли все разом и так сильно, что пот их пробирает, и им баско кажется.

Так и кипит работа. Все бьются до поту и не могут понять, что они такое робят и к чему эдакая работа, больно уж баская да чудная.

Работают они каждый день, бахвалятся, что и они рубить мастера; а не понимают своей работы. Чувствовать им нечего: им или баско, или худо; о своих деревнях они забыли, с людьми хорошо, да и чувствовать-то некогда; то рубить, то скоблить, то колотить... Встал рано, есть хочется—чув-

ство, поробил, есть хочется—чувство, спать хочется — чувство...

О Пиле и Сысойке сказать особенного нечего. Они точно такие же были, а, пожалуй, и хуже. Они теперь блаженствовали. У маленьких подлиповцев, Павла и Ивана, было больше способностей, чем у старших. Они, конечно, не могли сделать больше взрослого, окрепшего мужчины, но понимали, как и к чему такая-то вещь следует и как, что и для чего делается. Занятие их было обдeldывать поносную, похожую на мачту, или вколачивать скобки. Эта работа им так казалась хорошей, что они, если ее не было в одном месте, шли в другое и там отгоняли рабочих от не своего дела.

Теперь отец для Павла и Ивана был все равно, что и прочие бурлаки. Они теперь никого не боялись, и старших у них не было.

— Пашка! они все свиньи,—говорил Иван.

— Все. Они робить не умеют.

— И тятка свинья!

— И Сысойко свинья... А мы свиньи?

— Мы-то?... А пошто?

Немного помолчав, они опять спрашивают друг друга, свиньи они или нет; кажется, свиньи, а ровно и нет: «Свиньи-то эво какие! А мы воно какие».

Откуда забралась в их головы такая мысль, они сами понять не могли; слышали только, что приказчик ругал как-то бурлаков свиньями...

С бурлаками маленькое заводское начальство обращалось очень грубо; часто обдeldывало деньгами, так что многие голодали. У него, конечно, свои интересы, а над бедным бурлаком, что хочешь делай—смолчит или изругает, а жаловаться не пойдет, да некому...

Настало тепло. Солнышко греет; снег с каждым днем тает и тает; с гор бегут в реку ручьи, на вершинах видится бурая земля. Барки уже сделаны, а бурлаки все еще работают: кто весло делает, кто конопатит барки и полубарки, кто так себе рубит бревно; работа кипит везде; целые две тысячи бурлаков копошатся на берегу у барок, на барках, на льду

в рубахах дырявых и со множеством заплат; с иных пот каплет.

Наступает пора еды, бурлаки садятся кучками на барки или на обрубки бревен, на сломанные доски, едят хлеб, прихлебывая щей с капустой и дрянной говядиной, кто в шапках, кто без шапок. Солнышко так и греет их, оно освещает загрубелые, желтые лица бурлаков, и вообще как-то приветливо. В кучках сидят преимущественно люди разных названий: татары с татарами, черемисы с черемисами, подлиповцы с подлиповцами и т. д., так что воздух оглашается разными наречиями: лепечут бойко татары и черемисы, прищепetyивают зыряне, кричат пермяки, выговаривая: поце? зацем? цуца, и т. д. За обедом все кажутся веселы: каждому, утомленному работой любо, что солнышко светит и греет баско, и он долго смотрит на солнышко, до тех пор, пока не заболят глаза, и думает какую-то думу... Славное солнышко! пошто оно не каждый день так светит? когда и вовсе его нет, а когда покажется, да и спрячется, чучело!.. Поевши, бурлаки опять принимаются за работу, но уже ленивее утреннего; хочется пожевать. Вечером все собираются на барки, сидят кучками и толкуют больше о бурлачестве; сидят долго, думают, скоро ли они перестанут робить; когда будет такая пора, когда они все так будут сидеть... Потом начинают петь свои песни, каждый на своем языке, и поют они долго, долго, не понимая сами смысла песни, а хорошо им кажется и сердце ноет, кого-то жаль, хочется чего-то... Тут есть и музыканты: те разгоняют свою тоску, играя на гармониках и балалайках какие-то веселые песни. Но и тут не весело: поиграет, поиграет бурлак, отдаст инструмент другому, а сам пристанет к другим и поет с ними. Одни только татары да зыряне какие-то чудные: они, как кончат работу, и ложатся спать, как будто им не нравится общество остальных людей. Днем они иногда поют по одиночке или голосов в шесть, так над ними бурлаки смеются—больно уж забавно поют, талалакают на своем языке. Умаявшись, надравши горла, бурлаки идут спать в пустые барки: положив под голову котомку с имуществом, чашкой, ложкой, лаптями, бурлак растягивается на полу; и как лег, так и уснул...

Становилось все теплее и теплее. Снег почти весь стоял. Лед покрылся водой. Барки уже совсем отстроены. Стали прибирать бревна, доски, очищали берег, сдвигали коломенки, барки и полубарки ближе к берегу, стали грузить их железом и чугуном. Воздух наполнился криком, руганью, стуком, треском, звуком от железа; бурлаки суетились, бегали, тащили полосы и листы железные, кряхтели, потели... На них кричали приказчики, лоцмана, показывая, куда что нужно класть. Наконец, барки, коломенки и полубарки наполнены, поносные весла, канаты, шестики, доски, бревна и разные разности положены на коломенки, барки и полубарки, бурлаков распределили на барки, кого до Елабуги, кого до Сарапула, кого до Волги, кого до Саратова. Бурлакам до Елабуги назначили 8 рублей, до Сарапула 9, до Волги 10, до Саратова 14 за сплав. Всем заказано быть наготове. На каждой барке было по одному и по два лоцмана, по два водолива. Каждому было наказано, что делать, где стоять. Делать нечего, а бурлаки все что-нибудь да делают: то поносную потешет топором, да пообрубит весло, то увидит на боку барки дыру, выстрогает дощечку, прибьет и законопатит, а то еще дранку на скобки прибьет. И сколько на этих барках заплат! Хотя они и новые, а все как-то кстати приладились: и сами они в заплатках, и рабочие на них тоже с заплатами носят одежду. Барки приладились, номера на них написали,— первую букву завода на корме выжгли, воткнули в столб на носу палочку с маленьким флагом. Среди коломенок и барок точно барыни какие красуются три большие коломенки-караванки с мачтами, с разноцветными кружками на верху мачт и с флагами, на которых красуется название завода. Бурлаки большею частию отдыхают, поют песни, едят и поглядывают на другие барки и в особенности на караванки, на коих, сказывают, поплывут набольшие, кои бурлаков приняли, да бают, ошшо палить станут. Бурлаки получили по полтора рубля денег, ходят по заводу, покупают хлеба, мяса, больше луку свежего; несколько человек купили бала-лайки. В барках и на берегу варят в больших котлах говядину, брюшину, баранину и едят дружно. Накопившие рубля три денег покупают в заводе у рабочих чугуны, скowo-

родки, сковородники, утюги и разные вещи очень дешево и тащут в барки. Даже собирают бросовое железо, валяющиеся гвозди, скобки—все приходится, может быть, кто и купит.

Подлиповцы торжествовали. Они никогда не жили в таком большом обществе людей своей братии, и друг другу сообщали свои чувства.

— Вот, значит, я сила. Не я бы, так што было бы с вами?—говорил Пила своим товарищам.

— Уж што говорить!—откликались Пиле товарищи.

— Ошшо не то сделаю.

— Все бы Апроську надо,—говорит Сысойко печально.

— Надо бы...—И Пила задумывается.

— А пошто здесь баб нету?—спрашивают другие подлиповцы.

— А кто их знат!.. Да што бабам-то делать?.. Все сробили.

Все они ждали той поры, когда они поплывут, и говорили об этом предмете каждый по своему разуму.

— Вот теперь как барка-то стоит и зашевелится, побежит, бают, и не догонишь; а мы ее пехать будем веслом-ту,—рассуждает Пила.

— А куда побегим?

— Куда... знамо куда... А куда—Пила не может объяснить.

— Как же мы теперь побегим? Смотри, сколь железа-то наложено, а нас-то сколь?..—спрашивает Сысойко.

— Уж побегим.

— Да теперь барку-то не сдвинешь. Поди, лошадь запрягут?

— Бают, водой поташиит.

— Экой прыткой!.. А как да нас запрегут?..

— Толкуй с дураком!..

Каждый вечер был каким-то праздником на барках: выпившие водки плясали, тысячи бурлаков пели, в разных местах кричали, где-нибудь несколько бурлаков все еще рубят что-то. Все это веселит подлиповцев.

— Надо бы Матренку взять. Вот бы поглядела курва!—думает Пила и говорит об этом Сысойке. Сысойко вздыхает об Апроське, потом плюет и говорит:

— Ну их к лешим!

— Ну уж, мы теперь назад не пойдем,—говорит Пила.

— Так и будем робить,—соглашается с Пилой Сысойко.

Многие бурлаки курят махорку из глиняных трубок с коротенькими чубуками.

Пила тоже завел трубку и постоянно курит махорку с Сысойком. Сначала их тошнило, а потом они втянулись. Для чего они курили,—не знали, а так завидно стало: прочие бурлаки курят, да и баско, веселее ровно, как покуришь.

От берегов отъело лед, и он готов тронуться, как только прибудет вода. Барки прикрепили канатами за сваи, вбитые в землю. Вот пустили из заводского пруда воду; вода с силой вырвалась из своего заключения, быстро, большою массою хлынула из плотины и пошла катать: все, что было по пути, неслоь водой. Вот бросилась вода в реку, сначала покрыла лед, потом лед поднялся, треснул, заколыхался... Вода все больше и больше прибывает, а лед то и дело ломает, вертит, словно в омуте. Бурлаки стоят с разинутыми ртами на барках, на берегу тысячи заводчан... С берега слышны крики.

— Тронулся... тронулся!—Многие бросали в реку медные монеты.

Но лед только кружится, чернеет.

— Пошел, пошел!—кричит народ.

Действительно, река на большое пространство очистилась. Лед впереди все более и более напирал на берега, трещал, ломался и наводил на бурлаков ужас до того, что некоторые из них крестились. Барки покачивало.

— Пошла Чусовая! пошла Христова...—кричит народ и кидает в нее грошики.

— Нет ли у те копейки?—спрашивает девица свою подругу.

Подруга дает ей копейку, она кидает ее в реку и что-то шепчет.

По местному понятию, при вскрытии реки нужно подарить ее для того, чтобы не утонуть в ней.

Ни одного бурлака не было такого, который бы не радовался в это время. Все были заняты вскрытием реки, как

точно дождались светлого праздника. Река шумела, изда слышался треск и какой-то гул, бурлаки кричали.

— Смотри, как льдину-то шарахнуло!

— Гли што дается! Эк ее расколело!..

— Смотри, шитик тащит!

— Зевай! Лови поносную!.. Черти!

— Я вас, я вас! што глазеете!.. Пехай льдину, пехай!

С этого дня началась работа бурлацкая.

Вода все больше и больше прибывала. Мало-по-малу вода подходила к баркам, и на третий день все барки стояли в воде. Крик, беготня, стукотня не умолкали.

— Спеживай барки! спеживай! Что стали?—кричали лоцмана.

Бурлаки берутся за шесты.

— Не так, с этого конца!

— Канат опусти!

— Вяжи... Заматывай, дьявол!.. Подай чалку!

Барки подвигались все ближе и ближе к реке, и, наконец, были уже в ней.

— Сто-ой!. Ах вы лешие!.. Брось чалку на энту барку

— Цепи!.. што рот-то разинул!.. Да подай ты, леший веревку!

Бурлаки метались на барках и на берегу. Все из их рук валилось.

Подлиповцы были на берегу. Их очень удивило, что барки так скоро попали в реку, и удивлял переход от льда к воде. Все был лед, а теперь на вот! Ишь, сколь воды-то!..

В каждой барке была уже вода.

— Откачивай воду! живо!—кричат лоцмана в одном месте.

— Чини барку!—кричат в другом месте.

Павел и Иван назначены в водоливы. Стоят они в барке друг против друга и большим черпаком, привязанным веревкой за потолок барки (палубу), помахивают, как очепом и выливают им воду в отверстия, сделанные на боках барки.

Лед шел уже меньше. Бурлаки долго дивились по вечерам: куда это лед идет? И порешили на том, что идет куда-то в море-окиян. Сверху стали приплывать барки все больше

и больше. Теперь было уже до ста барок, и на каждой от 30 до 80 человек бурлаков.

Через три дня, как прошел лед, бурлакам опять нечего делать. Большая часть лежала на барках, суша онучки на солнышке, или ходили в завод за хлебом. Все чего-то ждали, чего-то боялись, хотели скорее плыть, рассказывали разные страхи. Сысойка и Пила с детьми попали на коломенку. Эта коломенка, как и другие коломенки, построена из соснового леса, имела плоское дно, которое к корме и носу постепенно суживалось, и имела палубу.

Пила и Сысойко сменяли Павла и Ивана, когда им нечего было делать или надоедало лежать. Была ли то привязанность к ребятам, жалость к ним, или желание поробить—решить не берусь. Только Пила сильно начинал надоедать лоцману своими услугами. Скажет лоцман бурлакам:—Подтяните поносную!—Пила летит со всех ног к поносной, Сысойко тоже за ним, и примутся оба за поносную. Лоцман видит, что они и взяться-то не умеют, как следует, обругает их. Пила спрашивает:—А ты скажи, как?..—Велит лоцман какому-нибудь бурлаку сбегать на другую барку за чем-нибудь, Пила опять бежит от работы.

— Ты куды! Ты знай свое дело!—говорит лоцман.

— Сделаю то и то...—говорит Пила и идет на другую барку.

Лежит лоцман в коломенке на железе и думает что-то, смотря на ребят, откачивающих воду; Пила и Сысойко гонят ребят.

— Подь, чучело! И тут робить не умеешь.

— Вот умеешь!.. Пустите!—кричит Иван.

— Дурень, подь побегай...—говорит Пила Ивану. А ребятам давно хочется погулять.

— Не трог! Што пристал к ним? Знай свое дело,—облает Пилу лоцман.

— Экой ты, Терентьич! Мальчонкам-то трудно ведь.

— Мало ли что! взялся за гуж, будь дюж.

— Да парни-то родные.

— Мало ли, что родные. Знаю мы родных-то, кто с борка, кто с веретейки...

Пила и Сысойко откачивают воду. Покачают, покачают спины заболят, сядут и ждут, чтобы скорее лоцман ушел, и им бы лечь поспать.

— Качай, што стали!

— Да мы так...

— Я-те дам, так!..

Этот лоцман заводский человек и уже четырнадцатый год бурлачит по Чусовой и Каме, лоцманом служит шестой год и знает все опасные места на реках, за что и получает хорошее жалованье. Лоцман на барке или на коломенке— глава; без него ничего не поделаешь. Лоцман отвечает за целость барки, казенного имущества, здоровье людей,— одним словом, он должен в целости сдать то, что принял. Поэтому неудивительно, что лоцман обращается со всеми, как ему вздумается.

Вот к этому-то человеку и старался втереться Пила, понравиться для того, чтобы ему лучше было. Он понял, что все его товарищи-бурлаки такие же люди, как и он, что от них ничего не получишь хорошего, а еще наживешь худа, пожалуй, лоцман возьмет да и прогонит, как прогнал шестерых бурлаков за то, что они стащили ночью с барки две полосы железа.

Лоцман же, бывши сам бедным бурлаком, всех считал равными себе, знал нужду каждого, не налегал ни на кого слишком работою и требовал только, чтобы все исполняли свое дело, как следует. Одно только в нем было скверно: зная, как и что сделать, он хотел, чтобы все так делали и делали живо.

Чтобы больше втереться к лоцману, Пила стал ему наговаривать на бурлаков.

И действительно, лоцман по вечерам сидел с подлиповцами, расспрашивал их об родине и сам рассказывал им свои делишки.

— Вот ты пошел теперь бурлачить, и ладно. Города посмотришь разные, и жизнь-то лучше будет. Я, брат, тоже прежде мыкался так-ту, да поправился. Трудно было, зато теперь любезно поживаю: в заводе баба, летом весело.

Пила слушал, рот розиня.

— Как походишь годов десяток, и сам будешь лоцман.

— А таперь нельзя?

— Экой ты дурень! Ты знаешь ли, што за штука лоцман?

— Э!

— Точно. Возьмешься ты за это дело и покаешься. Вот таперь Чусовая. Уж я знаю все, где какое место опасное, а кто его знает, что случится? Вдруг, как коломенка-то разобьется, ну, и потонет. А я отвечай... Дура!

Пила не понимал, как может потонуть коломенка. Лоцман растолковал ему.

— Эко дело! Научи ты меня, Терентьич!—говорил Пила.

— Вот и учись. Ты стой возле меня. Я тебя заставлю поносной водить.

— Уж ты и Сысойка заставь.

— И его заставлю. Только смотри, делай, как я буду велеть.

— Уж не бай! А ты, Терентьич, и ребят туды поставь.

— Ребят нельзя. Работа их легкая. А им с эким бревном валандаться неподходящее дело... Надо тоже и чувство иметь.

— А если можно, ты лучше со мной поставь.

— Толкуй с дураком! Ты то пойми: што им здесь делать-то? Какая у них сила? Ишшо захворают, горе будет с ними.

— Ну, так и ладно.

Терентьич очень понравился Пиле, но Сысойко почему-то не взлюбил его.

Недолго постояли барки; недолго нежились и бурлаки. Надо же и плыть в дальний путь... Поплывайте, добрымолодцы, за богачеством. Не знаете вы, что богачество-то вы сами спроваживаете: барки-то полны, да не для вас все это.

Приказчики сосчитали всех бурлаков. Беглых оказалось двадцать четыре человека. Барки были осмотрены старательно. Дали бурлакам по полтиннику денег и велели готовиться в путь; а тронуться назначено завтра. Окончив поверку и осмотр барок, приказчики сказали лоцманам:—Ну, ребята, завтра мы поплывем. Смотрите, берегите барки и народ.

— Уж в этом не сомневайтесь,— было ответом лоцманов.

— Ну, и ладно. А вы, ребята, бурлаки, во всем слушайтесь лоцманов. Если кто ленив окажется да буянить будет, того мы прогоним и денег не дадим.

Бурлаки на это ничего не сказали, а стояли без шапок, переминаясь с ноги на ногу и почесывая свои бока.

— А когда в Пермь приплывем, тогда получите половину денег сполна.

Бурлакам это любо показалось. Кто поклонился приказчику, а кто и так стоял и смотрел на приказчика, как будто говорил про себя:— Больно ты хорош человек, только не обидь бедного человека...

Когда ушли приказчики, деятельность оживилась: лоцмана кричали на бурлаков, бурлаки бегали, кое-что прилаживали и починивали, готовили барки к отплытию. Вечером, накупивши в заводе хлеба и лаптей, все бурлаки загуляли— пропили свои трудовые деньги. Вечером в заводе было большое веселье: у бурлаков много было знакомых из рабочих, и они теперь угощали их за хлеб-соль. Наши подлиповцы тоже были пьяны, даже Павел с Иваном выпили косушку, и лоцман Терентий тоже был пьян и бахвалился тем, что он лоцман не на барке, а на коломенке, и шесть лет благополучно проводил барки. Песни и пляски стихли далеко за полночь, и многие бурлаки вовсе не спали, потому что в четвертом часу утра приехало заводское начальство с духовенством. Священник отслужил молебен на караванке, окропил барки водой; раздался выстрел, бурлаки дрогнули, а он глухим раскатом залился в горах. Выстрелили с караванки еще раз, еще раз, и пошла пальба... Народу на берегу много было.

— Отчаливай! Живо!..— крикнул кто-то с главной караванки.

Бурлаки бегали, как угорелые по баркам, перебегали с барки на барку, кто брал весло, кто держал поносную, кто веревку...

— Отчаливай вон ту! что стали?— кричали с караванки. Барки трещали, скрипели...

Одна барка пошла, понесло и людей вместе с нею. Подлиповцы рот разинули.

— Крестись!—командовали лоцмана.

Крещенные бурлаки перекрестились.

Барку повернуло боком, и она так и поплыла.

— Гребнi возьми!..

Бурлаки схватили весла. Одно весло держали двое.

— Гребнi сильней! гребнi-и!!

Бурлаки опустили в воду весла и стали помачивать их.

— Отчалива-ай!!

Поплыли еще две барки, потом три, десять...

Пила и Сысойко стояли посредине коломенки, ничего не понимая.

— Сысойко!—сказал Пила с боязнью и вцепился в полу сысойкина полушубка.

— Боюсь,—ответил Сысойко.

Дети Пилы перестали откачивать воду. Они тоже стояли около отца и, ухватившись за полы полушубков Пилы и Сысойка, дико смотрели на удаляющиеся барки.

— Эй, вы! Пила! Сысойко! на корму!—кричит лоцман, Пила и Сысойко подошли.

— А вы што глазеете! Пошли в барку!—крикнул лоцман на детей Пилы.—Эй, вы! у весел стойте!.. Пошли на нос! еще шестеро сюда!—командовал лоцман, толкая бурлаков и тыча в их подбородки.

Стали стаскивать в воду поносовые. Стаскивание сопровождалось песнею: обхватит бурлак поносную, наплет на нее всю силу и закричит:—«Дернем-подернем, да раз!.. Ха!!»—и двигается поносная, а не запоет бурлак этой простой песни—и силы нет...

— Смотри, ребя! не робеть. Что скажу, то исполняй. Геперь, братцы, боязно, как раз потонем!—говорит лоцман.

Все бурлаки струсили, а Пила спросил лоцмана:—«А пошто?»—Лоцману не до рассуждений было. У него много дел.

Все приготовлены, каждый держит в руке что-нибудь: кто весло, кто поносную, кто шестик, лежащий на коломенке, кто веревки.

— Отчаливай!—закричал лоцман Терентийч.—Отвязывай веревку-то!

С другой барки отвязали веревку с кормы. Коломенку двинуло в воду и живо поворотило кормой вниз по реке.

— Мужланы! Анафемы!! Я вас!—ревет лоцман...—Да отвязывайте носовую веревку!.. Ах, беда!.. Гребите к берегу!.. стой в носу!.. Не тронь канат!

Бурлаки забежали, напугались. Сдвинули поносную и стали; погребли веслами и стали. Лоцман вышел из терпения.

— Ах, мука какая! Да будьте вы прокляты, дьяволы эдакие! Загребай воду-то! Не так: в ту сторону!.. Ах, беда! От себя, чорт, от себя!..

Бурлаки работали, что есть силы. С них катил пот, а все не в толк...

— Что вы стали, дьяволы!—кричали на эту коломенку с берегу и с караванок.

— Отчаливай нос! Принимайся в гребите! загребай в реку!

Коломенка пошла и пошла боком поперек реки.

— Сильнее, сильнее! Эй, вы, носовые, в глубину! в глубину!.. А вы к берегу... Стой весла, иди сюды!

Кормовых и носовых пробрало. Пот так и катил с них. Коломенка скрипела, покачивалась и ушла уже далеко от завода. Бурлаков приветствовал резкий ветер. Воздух свежел.

— Стой!—кричит лоцман. Бурлаки сели, на руках мозоли, а коломенка идет животом вперед.

— Славу Богу, начин хорош, а там не знаю, что будет,—говорил лоцман и крестился. За ним крестились и прочие.

Бурлаки сидят и удивляются, что они плывут; впереди и позади тоже барки плывут. Много их пущено. Сидят они, смотрят на деревья и дивуются: ровно коломенка-то стоит, только деревья бегут, вон и камни бегут, и мужик какой-то бежит. Чудно! Ничего не поймешь. Коломенку несло очень скоро. Бурлаки недолго сидели. Минут через пять лоцман опять поднял всех на ноги.

— Заворачивай корму! живо!...—Корма повернулась вкось.—Гребите к тому берегу, смотри, тут плот—это заплавь называется. Кабы не тронуться...

Дело в том, что дно р. Чусовой каменистое, и сама она очень быстра и извилиста, так что нередко барки ударяются в береговые камни огромной величины, какие выглядывают

даже из воды на середине реки. Поэтому в отвращение несчастных случаев придумали ограждать эти камни, носящие разные названия, в роде: Косой, Бражка, Узенький, Писаный, Дужный, Печка, Горчак, Разбойник,—заплавями, состоящими из двух плотин, из которых каждая половина состоит из трех *прясел* (бревен) длиною до 10 сажен, толщиною до 7 вершков, связанных между собою веревками. Они привязываются к деревьям, растущим на берегу, так, чтобы, плавая по воде, могли принять на себя барку, если она силою течения будет плыть прямо на камень. Но эти заплавы мало приносят пользы, потому что ударом барки о бревно, бревно далеко относит, и барка все-таки разбивается о камень. В двух верстах показалась Черная гора.

— Гребите! не робейте, ребята! Выручите, водки куплю!...

Работа началась на всей коломенке, работали носовые, кормовые и гребки. Весла и поносные шумели, вода от плеска тоже шумела, ветер свистал и пронзал каждого человека до костей. Все умаялись; все молчат, дико смотря на приближающуюся гору. Каждый трепещет и молится горе: «Матушка горушка, выручи!»... Лощман несколько раз перекрестился, поминутно мерял шестом глубину реки и сам помогал грести поносную. Гору миновали благополучно. Лощман перекрестился и сказал: «Брось!» Все бурлаки сели;

Так плыли бурлаки целый день.

И хорошо, как плывут барки! Люди сидят измученные и что-то думают, вероятно, о трудной работе, какой они еще не дельвали и весело им кажется: барка плывет, лес и камни мелькают. Ишь, какое дерево-то хорошее промелькнуло! Вон какой лес показался, речка бежит, а там вдали деревушка под горой стоит и серые поля с грядами видятся... Вон село какое-то с деревянной церковью, ишь какие крыши-то высокие, так вот и кажется, что дома друг на дружку лепятся: Вон опять поле огороженное. Какой-то мужик в тележке едет... А вон налево лес горит, и тушить-то его некому. А вон мужики куда-то бревна везут. Вон в лодке мужик с бабой реку переезжает... И все плывет, идет, бежит куда-то, все смотрит на бурлаков, кивает им приветливо: здравствуй, мол, поштенный, куда те Бог несет?.. Бурлаки действуют

веслами и поносными; вода плещется, барка скрипит, точно как плачет, обмывается водой, смывая бурлацкие слезы... Бурлаки работают: то и дело нагибают спины, наклоняются, поднимаются, шлепают тяжелыми, усталыми ногами, думают что-то, вероятно, об том: ах бы, лечь да отдохнуть... Рубашки смокли, прильнули к горячему телу, по бородам текут крупные потные капли и падают то на весла, то на рукавицы... А барку несет боком: леса, поля, деревни, люди— все и все куда-то несет. Эх, ты—жизнь, жизнь горькая! Только одно солнышко стоит на одном месте, ласково так смотрит на мир божий, да и то не надолго,—возьмет да и спрячется за серые тучи, словно дразнится...

Опять впереди утес, крутой и страшный. Так вот и кажется, что тут и конец реке, так вот и хлопыснется о камень барка... Но одна барка спряталась, другая нашла на утес, треснула; раздался гул, крики мужиков... Ничего не разберешь! Видно только, что люди копошатся, плывут в шитике, слезли на берег,—и барки не стало... Бурлаки дрогнули и, выпучив глаза, смотрели на то место.

— Валий на всех!—кричит лоцман. Опять возня, ругань. Гора приближается все ближе, чернеет, такая страшная; голые утесы, точно страшилища какие, висят над рекой: берегись, мол, зашибу!..

— Гребите! гребите! Что стали?..

— Эка беда!—ворчат бурлаки.—Скоро ли уж конец-то!..

— Гребите сильнее!.. Валий! в землю смотри!..—И лоцман сам принялся гребсти.

Миновали утес. Там по колено в воде стояли бурлаки на потонувшей барке и просили пощады у Терентьича... На гору лепилось несколько бурлаков, к барке плыли в шитике два лоцмана и четверо бурлаков.

— Пусти!—говорили они.

— Гребите! что стали?..—говорит лоцман Терентьич.

— Ради Христа...

— Ну вас!.. Гребите сильнее, вон там опасно...

Барка завернула за утес. Впереди плывут барки.

— Вот оно што!..

— Беда...

— Эх ее хлобыснуло!—рассуждают бурлаки.

— А еще два лоцмана!—говорит лоцман Терентий.

— Как же теперь?—спрашивает лоцмана Пила.

— А так: барка потонула, а может, и люди потонули, лоцману беда. Ах, злочесь какая!—тужит лоцман.

— Эй, ты, мужлан, сворачивай в глубь!—кричит лоцман на лоцмана одной барки, плывущей впереди.

— Э!—отозвалось с барки и слышится оттуда крик:— Вали к берегу! вали!

Бурлаки плывут молча. Темнеет. Слышны скрип барок, глухой плеск воды да песня: «Г азом да раз! дернем подернем да раз!.. Ха!..»

Вечером пристали к прочим баркам. На барках рассуждали об убитейся барке. Много бурлаков хотело итти посмотреть на ту барку и потужить с бурлаками, да итти-то далеко и отдохнуть хочется.

— Эдак и мы помрем,—говорит Сысойко.

— Не помрем. У нас лоцман—беда!—говорит Пила.

Бурлаки наелись сытно и улеглись спать в барки. Во сне им снилось: как они плывут, как кричит лоцман, как хлобыснется барка об утесы, как они поднимаются на горы и падают в реку...

Ночью приплыло к баркам несколько бурлаков с разбившейся барки. Утром их приняли на две барки. Эти бурлаки говорили, что потонули два бурлака, один лоцман убежал куда-то, а другой уехал куда-то к набольшим.

В третьем часу утра бурлаки уже отчаливали барки. Берега опять огласились бурлацкою вознею, скрипом весел и поносных, руганью лоцманов, песнями: дернем, подернем, да раз!.. И каждую весну оглашаются так берега Чусовой; страшилища-утесы, пугалища-камни любят труд бурлаков, издеваются над людским горем... И сколько по этой Чусовой барок пройдет! Не один десяток тысяч людей, плывя по этой быстрой, каменистой, страшной реке, дрожит от страха и молится горам: «Не ударь—проведи... Всю жизнь, буду молиться тебе... Что хошь возьми, только не убей!..» Только по ночам опасности забываются, и идут рассказы про Ермака Тимофеевича, о камне Ермаке-разбойнике, да воздух

оглашается скрипичной игрою с караванок, на которых с утра до вечера буянят и пьянствуют приказчики.

До Камы барки плыли восемь дней. Ночью приставали где попало. Приставали и днем около селений, в которых закупали хлеба.

Можно бы много написать про то, как бурлаки плыли восемь дней, да не стоит, потому что первый день плавания походил на прочие: тот же крик лоцманов, те же песни бурлаков. Бурлака мало интересует природа: видит он баское место, да что толку? И про него оно устроилось так... Ему бы поесть только хорошенько да поспать в тепле... А там, может, и лучше будет. Только работа больно как тяжела! Почти четверть бурлаков чувствуют боль, и половина этих больных лежит, да и на них покрикивают лоцмана: «Что дрыхнете!»

— Ой, помираю!—стонут бурлаки.

— Я те помру! Пошел, робь!..—кричит лоцман.

А бурлак и пошевелиться не может.

Два бурлака умерли. Их зарыли на берегу. А зарыть очень легко, легко и в реку с камнем бросить, потому: можно сказать, что они убегли. Сельское начальство не скоро отыщешь, надо ждать дня три, да оно еще привяжется. Уж лучше, как зарыли; все знают, что человек-то помер; ну, и спи, родной: по крайности не мучишься!.. Пожалеют бурлаки мертвеца, да и забудут в тот же день, только ночью иным мерещится во сне что-то страшное.

У заводов и больших сел барки и коломенки останавливаются для закупки провизии. Приказчики выдают бурлакам деньги на харчи, и с прибытием барок набережные заводов, сел и деревень оживают. Бурлаки запасаются хлебом, наполняют кабачки; жители навязывают им разные сласти—мясо, брюшину, яйца, лук, огурцы и т. п.,—и продают, сравнительно с приволжскими местами, очень дешево. Бурлак, имеющий деньги, непременно покупает что-нибудь и, главное, непременно вернется на барку навеселе.

Пила с Сысойком пробавлялся даром. Ни у него, ни у ребят его, ни у Сысойка не было денег. Хлеб, купленный

в заводе, давно весь вышел, так как каждый съедал в сутки по полковриге. Когда не стало у них хлеба, они воровали из котомок других бурлаков. На рынках, в селах и заводах Пила на хитрости пустился. На рынках обыкновенно кричат:

— Хлеба купи! луку купи!

Пила и говорит:— Давай—И наберет пять ковриг. Сысойко наберет огурцов и луку.

— А вы деньги подайте?

— А ты подожди. Нас, гли, сколь—не убежим.

— Знаем мы вас!

— Толкуй ошшо! Сказано, прибегу.

К торговке или к торговцу приходят другие покупатели. Пила и Сысойко уходят на свою барку; а как ушли, и поминай, как звали.

Таким же манером он и мясо покупал.

На пристанях бурлаки отдыхали; этот отдых был для них каким-то праздником. Накушавшись хлеба, доставши сластей, они дружно ели кучками и ели очень много, так много, что другой крестьянин не съест столько: возьмет пленку луку, съест,—мало, еще съест; возьмет огурцы, съест, у другого попросит; нальет из котла щей в большую деревянную чашку, накрошит в нее хлеба, водицы речной подольет и хлебает огромной бурлацкой ложкой. Целого котла недоставало на толпу, и они, выхлебав щи, нальют в чашку воды и опять хлебают с крошками. Да и щи-то какие, вода да мясо, без всякой приправы... Зато все едят дружно, не сердятся, не завидуют, как будто все родные братья. Наестся бурлак и начнет проминаться—что-нибудь ладит, кое-кто лапти чинит, кое-кто спит, развалившись на палубе, так что только ветерок развеивает волосы да бороды. Вечером стбит посмотреть на бурлаков, чего-то они ни делают: и поют, и пляшут, и играют на гармониках, точно забыли денной труд, точно радуются, что они миновали опасность, не нарадуются, что дождались-таки волюшки-свободушки и не думают, что завтра опять будет тяжелый труд... Почти каждый бурлак, плывущий не в первый раз, знает песню «Вниз по матушке по Волге», и песня эта часто поется разом на трех, шести барках. Больно нравится бурлакам эта

песня,—почему, они не дадут отчета, только чувствуют, что она хорошая песня и лучше ее нет другой песни.

Дети Пилы тоже радовались вместе с бурлаками. Работа их была легкая, и брат с братом постоянно толковали о чем-нибудь.

— Слышь, как лоцман ревет!—дивуется Павел.

— Ну, уж и горло!—ребята смеются

— Это он на Сысойка кричит:

— Э! пусть кричит... Слышь! Во как честит!

— А вот на нас так не кричит.

— А пош о он те вчера бил?

— Уж молчи! Самово тебя бил.

— Вот што, Пашка, пошто это барка-то пишшит?

— А кто ее знает.

— Поди мужикам-то трудно?

— Што мне... А мы вот качали-качали, а воды все, гли, сколь! Как ты ее ни отливай, а ее все больше да больше...

— Вот што... сделам дыру в барке-то, вода и выбежит...

— Дурень! Да ведь вода-то от тово и бежит в барку—дыры в барке-то. Ты сделай дыру и потонем.

— А тятка-то вор: гли, сколь хлеба украл.

— Отколотим его.

— У него сила, Ванька, прибьет! Вон и Сысойко не может с ним справиться.

— Да Сысойко вахлак: Сысойка я, что есть, прибью.

— Пойдем спать?

— Давай лучше барки пускать.

— Давай.

Ребята бросают в воду щепку и смотрят: идет щепка или нет. Щепка стоит...

— Умоемся.—И ребята умываются грязной водой, покрывшей на полторы четверти дно барки. Читатель, может быть, удивился: зачем ребята умывались грязною водою, накопившеюся в барке, когда они могли бы умыться в самой реке? Во-первых, они были еще глупы; прежде они умывались и купались в речке, находящейся в трех верстах от Подлипной, да и я забыл раньше сказать, что в Подлипной бань не существовало; во-вторых, они были водоливы и им было мало

времени на то, чтобы бегать на берег, а достать воды ведром... они, вероятно, не додумались до этого в тот момент, когда им пришла мысль: есть вода под ногами—и ладно.

Больше всего их занимало то: идет барка или нет.

— Смотри, Пашка, как лес бежит.

— Уж я смотрю.

— А барка-то стоит...

— Ну, и врешь. лес бежит и барка бежит.

— Диво!.. Пошто это барка-то бежит? Ведь ее никто не везет?

То-то и есть.

Ребята старались сами узнать, почему это так. Спросить некого. Они знали, что бурлаков не стоит спрашивать. Вот они раз бросили с барки доску, доска поплыла; бросили камень, камень утонул. Спустили шест на воду, шест потянуло к низу, и они никак не могли удержать его.

— Эка сила!

— Вот поэтому и тащит нас.

— А мы попробуем, зайдем в реку—поплывем али нет.

Раз они зашли в воду по колено, их перло к низу.

— Эка сила—утащит!

Они хотели идти дальше, и потонули бы, да их лоцман испугал:

— Потонуть вам, шельмам, хочется!

— Мы, дядя, так...

— Я те дам так! Ступи-ко еще, и утонешь.

— А и то утонешь, вон камень потонул тоже...

Лоцман говорил им, что есть люди, которые не тонут, а умеют плавать. Они не верили.

В устье реки Сылвы, впадающей в Чусовую, много было барок, приплывших из других заводов; барки эти тоже двинулись вниз.

Всем хотелось скорее увидеть Каму, по которой плыть не опасно, а как вошел в нее, и делать нечего. Подлиповцам больше всех хотелось увидеть Каму. Баят, она широкая, глубокая, сердитая такая. Сколько рек прошли, а все, баят, в Каму бегут.—Знам мы Каму-то, она от Подлипной не далеко, так там махонькая, а глубокая, рыбы

пропасть, а здесь поди и конца ей нету, а рыбы-то поди людей едят...

Наконец, барки стали в устье Чусовой, против деревни, и загородили все устье. Чусовая здесь шире и глубже, а Кама шире Чусовой в три или четыре раза. Берега как Чусовой, так и Камы низкие.

Бурлаки обрадовались.

— Гли, Кама! Экая большая!..

— Баская река и конца-то ей нет.

— Супротив Камы теперь все реки дрянь, и Чусова пиголица против нее.

— Вот уж река дак река, никому зла не сделает.

— Одново года беда тут была. Пошли, знашь, барки да стали в Перму, и поди ты, братец мой, лед с верху. И лед-то какой—ужасти! Как царапнет барку, и пошла ко дну... Много барок перетопило.

— Ну, а теперь ничего?

— Теперь ловко. Теперь мы долго ошшо стоять будем: кто его знает, этот лед-то, прошел он али нет.

— Бакот в деревне—весь прошел.

Барки здесь простояли два дня. В это время бурлаки больше спали, а лоцман, имевший в деревне родственника, пошел к нему с Сысойком, Пилой и детьми его, сытно пообедал, выпарился в бане и принарядился. Здесь все лоцмана выпили водки, надели красные рубахи и навязали на шляпы красные ленточки. Все были веселы, покуривали махорку, пели песни.

— Ну, ребята, доехали до Камы, а там, как по маслу пойдет,—говорил лоцман.

— Баско,—говорили бурлаки.

— А все я вас провел. Молитесь вы должны за меня.

— А ошшо далеко бежать-то?

— Да больше тово, сколь прошли.

— А Подлипная близко?—спросил Пила.

— Какая Подлипная?

— Ну, наша-то деревня?

— Чердын-то?

— Ну, Чердынъ город.

— Да как тебе сказать, не солгать? Мы одново разу судно тянули от Перми до Чердыни; пошли—тепло было, а пришли туда—холодно стало, потому, значит, долго шли: река больно мелка. А так ходу неделя.

— Вре?

— Только неделя. Вот таперь там хлеб больно дорог, а суда ходят только до Усолья да до Соликамска, а в Чердынъ редко, потому река мелка, да и Чердынъ в стороне верст за сорок стоит.

— Да мы в Усолье городе были. Там ишшо соль делают. А оттуда шли-шли... Пошли—стужа была, а пришли к баркам—тепло стало.

— А можно бы в две недели дойти.

— Ну, и врешь!..

Подлиповцы думали, что лоцман морочит их.

— Вы круг дали: вам бы по Каме надо итти или по большому тракту.

— Вре?

— Вам можно всево только неделю дойти до Перми, а там бы на пароходы наняться.

— И то бы лучше там было.

— Я вот теперъ Каму хорошо знаю и на Волге бывал годов с пять. Хотел на пароход наняться, да прохворал зиму-то; а ныне наймусь непременно зимой.

— Там баско?

— Да лучше здешнего, работы меньше.

— Так ты и нас возьми.

— Можно будет, и вам доставлю работы.

Пила с Сысойком задумали поступить на пароходы, еще не зная, что это за штуки такие.

Барки тронулись по Каме. Кама бушевала, дул с низу сильный ветер, шел дождь. Бурлаков пробирало ветром очень чувствительно, полущубки их смокли. Барки покачивало от больших волн. Подлиповцы в первый раз увидали такие волны и дивовались.

— Экая большая, как гора! Смотри, как хлобыснулась! Ишь как! Шумит больно...

Барки плыли в рассыпную боком. Бурлаки работали с час. Их хорошо пробрало, да и грести не стоило. Бурлак так гребет: спустит весло в воду, обмакнет и поднимет, кое-кто разве гребнет, да и то редко. Работа очень скучная. А в ветер немного так нагребешь: спустил бурлак весло в воду, волна и ударит его, а иное и не достанет воды. Лоцмана, наконец прекратили работу, да и не стоило работать, когда барка шла по середине реки. Вон два острова миновали уже, а теперь и спи часа два, а там Мотовилихинский остров будет и Пермь в двух верстах.

Подлиповцы, кроме Елки, который хворал, попрежнему находились у кормы. Пилу и Сысойка больно пробрало ветром, вымочило дождем; они дрожали. Им страшно надоело сидеть на корме, а лоцман не пускает в коломенку.

— Сиди, чего еще надо? Вот скоро Пермь будет, выдыхнешься.

Однако, Пила увел Сысойку в нутро коломенки и лег на железные доски. Сба дрожали. В коломенке лежали семь бурлаков.

— Ну их к лешим! Не станем робить,—говорил Пила.

— Бают, город скоро, там и останемся,—говорит Сысойко.

— И мы с вами?—напрашивается Павел.

— Вас не возьмут.

— Возьмут.

— Коли возьмут, ступай. А уж мы здесь не останемся. Ну, уж и край! Эк вымокли. Помрем тожно...

— А лоцман бает: сила он. А тоже и без него барку-то тащит.

— Послушай только его, наврет он тебе.

— Наплевать нам на лоцмана!—говорит один из бурлаков.

— Уж больно криклив. А мы вот как он закричит на нас, и не пойдем!—ворчит Пила.

— Ты за меня держись: уж не пойдем!—говорит Сысойко.

— Город, бает близко. Да поди ошшо врет: сколько водил по рекам-то, да обманывал!

— Вон он теперь нас бьет. А пошто?—говорит Павел.

— А ты не давайся. Мне скажи; я ему задам,—ворчит Пила.

— Бает, прогоню.

— Ишь командер какой, чорт! Сам восемь медведей убил....

— Лоцман бает, нам в городе денег дадут.

— А не дадут разве? Ну-ко не дай... попробуй!

— Эй вы, черти! что спрятались?—крикнул в дыру лоцман. Пила и Сысойко ни с места. Павел и Иван тоже перестали откачивать воду.

Лоцман еще крикнул. Сысойко и Пила хохочут: эх, испугались! Лоцман вошел в барку. За ним вошло бурлаков двадцать.

— А вы куда! Пошли!..—закричал он на бурлаков.

— Не слушай его, лещева. Заведет он нас в чучу!—кричит Пила.

Бурлаки развалились спать. Лоцман руками хлопнул.

— Да что вы, анафемы? Псшли!

Бурлаки хохочут.

— Бурака водка бар! Пьеп-се, шайтанте заешь,—проговорил черемис.

— Пырни ево! пырни!—кричит Пила одному бурлаку.

Лоцман стал бить Пилу. За Пилу вступились прочие бурлаки.

— Так вы так! начальство не хотите знать?.. Пошли вон!

— А ты деньги подай! Тогда и распоряжайся!—кричит Пила.

— Деньги подай!—говорят бурлаки.

Лоцман струсил. Все бурлаки вооружились на лоцмана, и никто не шел на палубу.

«Беда! еще убьют, пожалуй!»—думает лоцман.

— Братцы, да не сердитесь! ну, чем я вас обидел?

— Знаем мы, чем ты обидел. Подай деньги и робить станем.

— Ребятушки, ведь эдак мы и город проплывем.

— Ты город кажи.

— Да коро. Вон за тем углом и город.

Бурлаки не шли на палубу. Лоцман ушел.

— Што? Али я не сила?—бахвалился Пила.— Пусь один поробит. Пусь...

— Да и што робить-то! Барка-то и без нас идет,—заметили бурлаки.

Лоцман не знал, что делать. Напугать бурлаков—убьют; соврать им что ни будь—не поверят. Он стоял закручинившись. С ним стояло трое бурлаков. Лоцман решился пугнуть бурлаков острогом.

— Послушайте, братцы, если вы делом не хотите робить, я, как приеду в город, начальству вас отдам. Пусть в острог посадит.

— Экой прыткой!—говорил Пила.

— Тебе хочется? Не бывал разве в остроге-то?..

— Был, да теперь не затащишь.

Пилу окружили несколько бурлаков.

— Так ты, бат, сидел?

— Беда!

— Значит, бежал?

— Прибил ошшо, самово прибили. Вон и Сысойка прибили.

— А ты за што сидел—за убийствие?

Пила рассердился, но смолчал.

— Уж знаю, нехороший человек!—сказал лоцман.

— Он, ребя, ошшо убьет!—заметили некоторые из бурлаков и пошли на палубу.

За ними пошли остальные и лоцман.

— А вы вот еще связались с ними!—сказал бурлакам лоцман.

— Не говори с ним.

— Хлеба не ешь...

— Убьет...

— Я, бат, туда пойду!—говорил Сысойко, скучая от лежанки на железе.

— Ну, и чорт с тобой.

— А пойдем!

— Ну те к лешим. Спи, знай.

Иван и Павел смеялись над Пилой и Сысойком.

— Пашка, дерни Сысойка-то!

— Сысойко, хлобысни тятьку!

— Я те хлобысну! Ну-ко, подойди!

Иван подходит к Пиле, дергает его за полушубок; Пила схватывает его за волосы и теребит. За Ивана пристаёт Павел; Пила прибил и Павла.

Сысойко вышел на палубу. Показался город.

— Тятька, гликошь, там што,—крикнул Иван Пиле, увидав в дыру город.

Пила посмотрел, улыбнулся и ткнул в бок Елку.

— Вставай, Перма уж.

— Ой, пусти!—стонет Елка.

Пила ушел на палубу. Все бурлаки смотрели на город и дивились.

— Эко баско! Ай да Перма-матушка! Вот дак городок! Гли, церковей што, домов белых... А барок-то, судов!

Здесь река была в версту ширины, и больно она большою казалась впереди: далеко-далеко там что-то черное видно,—там, видно, и конец. Выглянуло солнце и опять спряталось.

— Греби!—вскричал лоцман. Работа началась. Пила и Сысойко тоже принялись за поносную.

— Ты не тронь,—сказал один бурлак Пиле и оттолкнул его от поносной.

— Потолкайся, што я те свисну! Ты вишь—город.

— Бей ево!

— Я те дам бей... В воду столкону!

— Греби, греби! что ругаетесь! Мало ли что вам скажут, так вы и верите,—заступился лоцман за подлиповцев.

Пила и Сысойко не могли понять, что такое сделалось с бурлаками. Они не залюбили бурлаков...

И опять работают бурлаки молча, нагибая спины, опуская весла в воду и поднимая их,—только и слышатся их тяжелые шаги, да барка скрипит. Что думают бурлаки,—Бог весть. Они то и дело смотрят на приближающийся город; на лицах видится тоска, какое-то желание и что-то такое,

что бурлак не в состоянии не только передать другому бурлаку, но даже понять. Один только лоцман стоит у столба посреди барки и важно, жадно глядит на город: знай, мол, наших!

— Брось гребни! брось носовые! Загребай к берегу!— кричит он бурлакам.

Город близко. Около берега возле города стояло несколько барок, коломенок, караванок, с кружками наверху мачт и флагами на мачтах, баржи, два парохода, из которых один готовился к отплытию. Мимо подлиповцев прошел пароход с двумя баржами и оглушительно просвистел: бойся, мол, дрянь ты экая! Все бурлаки смотрели на него, как на чудо; особенно дивились те, которые в первый раз видели пароход. Их забавляли колеса, дым, свисток и то, что он бежит кверху, да еще во-какие огромные домины прет. Больше всего дым занятен: эх он из трубы-то валит, черный, да много сколь и выходит, да как лошадь ржет.

— Ну, и чорт!

— Эх он!—рассуждают бурлаки.

— Бог ошшо!—Впереди шел пассажирный пароход.

— Гли, как он колесами-те загребат!.. Эво! воно как. Ах, будь он проклят...

Раздался свисток. Бурлаки дрогнули.

— Экая у него пась-то. Варнак... право!..

А лоцман издевается над бурлаками да хихикает:

— Оболтусы вы экие!.. Ничего-то вы не смыслите...

Право, дурачье экое. Вы то поймите, он паром ходит и название ему пароход.

Бурлаки хохочут. Больно уж смешно лоцман бает.

— Там котлы поделаны для паров и печь большая устроена. Он сажен двадцать в день съедает.

Бурлакам опять смешно.—Ишь ты чорт! А пошто?

— По то, что пароход. Парами ходит..

— Прокурат, право, ты! Экой зубоскал!..

— А там машины такие устроены, кои сами действуют.

— Ну, уж и сами?

— Ей-Богу.

— Так-таки сами?

— И люди только дрова бросают, да машинист около машины сидит, наблюдает.

— Так он сам бежит?

— Экие вы дураки!— Лоцман плюнул в реку.— Врать вам стану—нужно подикось.

— А пошто же у него веслов нету?

Лоцман рукой махнул и отошел от бурлаков прочь.

— А ведь прокурат лоцман-то. Ишь што сбегал: сам, багет, ходит,—толкуют бурлаки и хохочут.

Причалили к берегу против почтовой конторы. Здесь было уже барок двадцать. Бурлаки сидели и ходили на барках, на берегу, плелись на гору в город. На горе гуляла губернская публика. Все это занимало подлиповцев, и они тоже сошли на берег, постояли под горой, потолковали, итти или нет, и решили, что итти не зачем, нет денег, да и поздно,—ушли опять на свою барку. Наелись сытно хлеба с водой и легли спать, но никак не могли уснуть. Больно их забавляли гароходы и публика губернская. Разговоры шли теперь в роде следующего:

— Ну, таперь доплыли в Перму. Отдохнем. Супротив Перми да Елабуги уж не будет таких городов.

— Там еще Нижной город есть. Огромнящий, дома—зво какие. А этот супротив Нижнего пеголича.

— Этот, багет, губерня, потому, багет, все набольшие живут, страшные такие... Всем городам правят, и Чусова тоже на Перму мол тся

— Вре! А Чардынъ?—спросил Пила.

— И Чердынъ тоже.

— А Подлипная?

— Тоже.

— Ну, брат, врешь... У меня только и было начальство—поп да становой!—ворчит Пила.

— Ну, значит, ты вячкой.

— Я те дам вячкой! Сам ты вячкой...—бранится Пила.

Барки то и дело прибывали. К каждой барке приходили солдаты, служащие в дистанции путей сообщения, осматривали барки, билеты, считали бурлаков, придирались к лоцманам за больших, кричали и получали от лоцманов деньги.

Первый день прошел скучно для бурлаков. Все они умаялись и рано легли спать. Некоторые из них ходили в город, да только так, поглазеть. Ночью еще приплыло несколько барок, и вновь приплывшие бурлаки не давали спать приплывшим раньше, потому что кричали: «бери чалку!», потом наступали на ноги спавших на барках бурлаков. Бурлаки ругались.

В полдень на другой день бурлаки получили по полтиннику денег. До этого времени некоторые из них продавали в городе за дешевую цену сковородки, чугуны и прочие железные вещи, и на деньги эти покупали хлеба, булок, огурцов, сушеных судаков и луку. Соленые и сушеные судаки бурлаки разрубали на несколько частей и большею частью глотали не размоченные, прикусывая хлебом и свежим луком.

Бурлаков, не бывавших в больших городах, очень занимала Пермь. По правде сказать, город этот неказист, жители бедны, хорошие дома построены большею частью на одной улице, идущей от сибирской заставы к дому В., а потом к будке, стоящей на краю лога. Но бурлаки эти в первый раз видели большие дома, в первый раз ходили по прямым улицам. Их все забавляло: и люди, и кареты, и телеграфные столбы.

В этот день Пилу и Сысойка с ребятами лоцман не отпустил в город, а заставил чинить барку. Посмотрим поближе на жизнь бурлаков в Перми хотя в третий день, когда подлиповцы пошли в город.

Четыре часа утра. Барок больше сотни; но барки все еще приплывают. Посреди их красуются четыре караванки с разноцветными кружками и с надписями на флагах, означающими название заводов. Бурлаки почти все встали и каждый что-нибудь ладит. Стук, звук от железа, скрип и говор не умолкают и слышатся далеко. Несколько бурлаков кучками сидят или лежат под горой и на горе; сидящие разговаривают или зевают, или едят хлеб, лежащие дремлют или смотрят на барки, на реку, на небо... Хорошо сидеть на горе против реки, так бы все и сидел, и мысли все какие-то хорошие появляются в голове. И часто бурлак засыпает, нежась на

сырой земле... Он отдыхает, и хочется ему все бы так отдыхать.

Пять часов утра. В это время к баркам идут городские и мотовилихинские *) торговки и приносят на досках, положенных на головы, хлеба и колочей и на коромыслах—луку, квасу и огурцов. Бурлаки берут нарасхват или хлеба, или луку. Квас пьют все. Пила старался достать хлеба даром, да здесь торговки оказались хитрее его: сами мастерицы обманывать, а хлеб большею частию продают с закалой.

В восьмом часу бурлаки идут толпами в город, кто в попушубках, кто в одних рубахах. Лоцмана отправляются к начальнику дистанции; за ними идут и приказчики, и другие старшие лица над бурлаками, плывущие на караванках. Зачем они идут к начальнику дистанции, — об этом редкий житель Перми не знает, а мы умолчим.

Бурлаки валом валют в город, а на барках все еще много их: там все не умолкает стук, скрип. Несколько барок уже отплывают.

Пиле и Сысойку лоцман не дал денег за то, что они нагнали ему. В этот день лоцман велел им не отлучаться с барок, а сам ушел. Их взяло горе.

— А мы побежим,—сказал Пила Сысойку.

— Куды подем? здесь баско.

— А мы подем поглядим.

Пила пошел к детям.

— Сколько он дал?—спросил он Павла.

— Ишь!—Павел показал медные деньги, —20 копеек.

— Много,—говорил Иван.

— Подем!—скемандовал Пила детям.

— Да он велел воду откачивать.

— Что откачивать! Хоть ты качай не качай, а воды, гли, сколько.

Ребята пошли.

— А вы нам дайте денег. Как получим, отдадим.

Ребята не давали.

— Вы набираете. Право, дай!

*, Мотовилихинский завод находящийся в трех верстах от города

Ребята поругались, а как стали всходить на гору, отдали по 15 коп. каждый. Деньги взял Пила.

Взошли они на гору с двумя бурлаками. На горе в нескольких местах сидели горожане, глазевшие на барки и на бурлаков. Подлиповцам хорошо сделалось, когда они посмотрели на реку.

— Ишь ты!—улыбаясь, говорил Пила. Они вошли в улицу. Проехала карета. Пила долго ломал голову и не мог понять, что это за штука такая.

Пройдет ли хорошо одетый господин, подлиповцы шапки снимают и смотрят на него; попадется ли офицер, они тоже снимают шапки и долго дивуются: кто же это такой? Попался им навстречу молодой дьякон без пушка на лице в шелковой рясе. Пила долго смотрел на него, рассуждая, кто это. Ему казалось, что это женщина, и он хотел догнать дьякона, посмотреть на него, да товарищи отговорили. Куда ни помотри, везде хорошо. Вот бы пожить тут. В нескольких местах на деревянных тротуарах сидят бурлаки и едят; несколько человек лежат около заплотов на траве.

— Вы откелева?—спрашивают подлиповцы бурлаков. Те скажут.

По улицам идут бурлаки: один несет чипунки, другой коты, третий пять ковриг черного хлеба на спине, обвязав их веревкой, двое тащат на палке брюшину, осердие, старую, почти засохшую говядину. Кто ест, а кто и так идет; попадаются даже пьяные.

Увидали они телеграфные столбы.

— А это што?

— А это соль добывают,—решил Пила.

Однако, они подошли к одному столбу, около которого стояла кучка бурлаков.

— Што ребя, диво?—сказал Пила, думая, что в столбах ничего нет удивительного.

— Да, бают, тут беда. Сказал ты слово, и пошло качать,—говорит один бурлак.

— Поди ты к лещам!.. Вишь ты, тут соль добывают.

— Попал! Ты видал ли, как соль-ту добывают?

— Эво?

— Там столбы-то не экие, да и перекладины поделаны, а тут железки, да еще четыре.

Пила втупик стал, однако подумал: «может, и здесь соль делают, только иначе».

— Эй, поштенный! Это што?—спросил один бурлак мешанина.

— Это телеграф.

— Как?

Тот повторил.

— А што же тут делают?

— Письма отправляют.

Бурлаки не знали, что за штука такая письмо.

— Теперича, как пошлешь письмо за тысячу верст утром, оно вот и побежит по проволоке и к обеду там будет.

— Худо место!—сказал Пила. И бурлаки отошли прочь.

Перед окнами одного дома пели двое зырян. Им что-то подали. Пиле завидно стало, и он пошел просить под окно ради Христа; ему не подали ничего.

— Не баско здесь,—сказал он.

Подлиповцы шли посередине дороги. По полу, как называли они тротуары, они боялись итти: ишшо прибьют.

Они пришли на рынок. По всему рынку бродили и терлись около торгашей и торговки бурлаки. Торговцы кричали, ругались и силой навязывали бурлакам купить что-нибудь. У подлиповцев глаза разбежались: чего-то нет на рынке!.. А какие еще есть булки белые да махонькие, крендели, да штучки какие-то... Так бы вот и съел все. Пила купил пекарскую булку *). Эта булка так понравилась Пиле и Сысойку, что они ее в четыре приема съели.

— Што?—говорит Пила.

— Давай ошшо!—просит Сысойко.

Они купили еще и съели, и все-таки не наелись, потому

*) Нисколько не похожую на французскую, как заметил один несчастный критик, отождествившись с подлиповцами с полным непониманием этих людей, сравнивая их с петербургскими судорабочими. Пекарская булка в Перми продолговатая, весит около фунта, и по роду муки называется или казанской сайкой, или сибирской пекарской булкой.

что такие мягкие булки они ели в первый раз; они на вкус подлиповцев были только сладки, но сравнительно с черным хлебом далеко не питательны.

Пошли все в питейную лавочку, ваяли у ребят последние деньги и пропили.

— А ись хочется,—говорит Пила.

— Беда!..

— А больно баско тамо! Все бы ел да ел.

— Денег нет. Лоцман не дал.

В лавочке было восемь бурлаков, из коих два с той барки, на которой был Пила. Подлиповцев поподчивали. Они захмелели. Ребята ушли собирать милостынку и через час пришли с семью кусками хлеба; в руках у них было двенадцать грошиков.

Подлиповцы вышли из лавочки. На улице били их лоцмана, Терентьича. Пила и Сысойко пристали за лоцмана.

— Ну, спасибо, братцы, выручили,—говорил лоцман и поцеловал Пилу и Сысойку,—таперь подемите пить.—Лоцман был пьян.

— А ты пошто мне не дал денег?—ворчит Пила.

— А пошто ты ослушаться вздумал? Ты знай, я сила!.. Я барку по Чусовой провел.

— Сама прошла.

— Ну, и не дам денег, не дам... Не перечь мне! Не пере-е-ечь!!

Лоцман привел подлиповцев в питейную лавочку, купил полштоф водки и угостил их; даже Иван и Павел выпили. Лоцман дал Пиле рубль.

— Пей, ребя! Таперь праздник!—кричали в лавочке бурлаки.

— Уж таперь нет опаски!..—Лоцман повел подлиповцев в трактир и там угостил супом и жарким. Подлиповцы сладко наелись.

Из трактира лоцман и подлиповцы вышли пьяные, и по выходе на улицу тотчас же запели песню. Даже Павел и Иван пошатывались и что-то пели. По улицам было очень много пьяных бурлаков. Большая часть их пела и играла на гармониках и балалайках. Горожане смотрят на них да посмеиваются. Но никто не обижает бурлаков.

Несколько бурлаков нашли себе теплые гнездышки в домах бедных мещан. Хозяева домов пускали бурлаков по 3 коп. в сутки, от 6 до 15 человек. И крепко спали бурлаки в теплых избах, и хорошо им было, хотя они и на грязном полу спали. Давно уже они не спали так, и долго еще им не придется так спать.

Подлиповцы с лоцманом едва добрались до своей барки, и как только пришли, так и завалились спать и проспали весь вечер и всю ночь.

На барках точно праздник под вечер: все сидят кучками; одни хлеблют щи, другие едят колодку судака, третьи хлеблют вареное прокисшее молоко. Перед каждым лежит коврига хлеба. Пьяные спят. На барки возвращаются тоже пьяные. Из города слышны бурлацкие песни. Наевшись, бурлаки начинают петь, играть на инструментах и пляшут. На одной караванке кто-то играет на скрипке, на другой кто-то играет на гитаре, визжит женщина, звенит посуда.

Был тихий, прекрасный вечер.

Губернская публика, человек до двухсот, ходит взад и вперед по маленькой набережной, называемой загонем. Любуется ли она бурлаками, Бог весть. Для нее играет музыка на возвышении, посреди площади. Далеко разносится эта музыка, заключающая в себе польки. Музыканты играют скверно, но все-таки около загородки стоят бурлаки и боятся войти в загон; слушают они музыку: хорошо и весело играют, долго бы слушал, да непонятно что-то. Стоит бурлак, заносит у него сердце, и пойдет он невеселый на барку. А там поют родные песни, выигрывают родные же песни, пляшут,—все как-то лучше, отраднее.

— Баско играют, да не по нам,—рассуждают бурлаки.

— И люди-то там какие! Сморчи... чучелы...

— Эх, бат, сыграй веселую... Вот тут болит!—говорит один бурлак, указывая на грудь или на сердце.

— Што там! У них свое, у нас свое. Им так-то не спеть. Затягивай! Знай наших!—кричит какой-нибудь пьяный лоцман.

И вылеваются бурлацкие песни, грустные, заунывные, и далеко-далеко, и долго разносятся эти песни. А поют-то

как они: сидит бурлак, подопрет щеки руками, задумается точно, в глазах жизнь видится, на лице горе, и смотрит в воду. Слушаешь эти песни, все бы слушал их, а слов разобрать не можно, только и слышится какой-то стон протяжный.

В прежние годы, когда не плавали еще пароходы по Каме до Перми, Кама была запружена до половины барками, и тогда город наполнялся бурлаками. Теперь только десятая часть прежнего: пароходы с каждым годом все более и более сокращают число бурлаков. Что будет с этими людьми, когда им негде будет бурлачить?

Есть люди, которые называют бурлаков самыми последними, бросовыми людьми. Есть даже и такие, которые называют их негодяями, вредными. Но они ошибаются: бурлаки только люди необразованные, грубые, самые бедные люди. Ведь у бурлаков только и есть богатства, что на нем налето да что он съедает... и для этого он трудится больше, нежели другой. А терпение переносить зной, холод, дождь?.. «Надо же кому-нибудь быть бурлаком»... обыкновенно говорят люди, насмехающиеся над бурлаками и не понимающие бурлацкой жизни.

В Перми барки простояли еще три дня. В последний день бурлаки с утра скучали: делать нечего, а хочется делать; сходит бурлак на рынок—денег нет: лоцмана не дают,—говорят, приказчики не дают; просто задор берет. Есть же такие богачи, что у них и хлеба-то множество и всякой всячины пропасть! Походит, походит бурлак по рынку и по городу, погорюет, что напрасно он пропил деньги, и идет на барку.

Подлиповцам хорошо казалось жить на барках. Хотя и бывает работа, зато не всегда, а хлеб-то у них всегда есть, даже еще много. Жалко, нет Матрены!.. Ну, Апроська померла, куда с ней больной. Здесь и без баб хорошо: татары да зыряне смешат; и городские смешат, говорят как-то инако да над нами смеются.

Подлиповцы узнали здесь больше, нежели они знали в деревне и в Чердыни: они узнали, что миру божьему нет конца, что деревня их дрянь, люди совсем другие, чем они;

что им уж не быть такими, какие ходят в городе в богатой одежде. Им хотелось еще побывать дальше и приискать себе такое место, где бы было хлеба много и можно бы было спать подольше.

Между тем барки постоянно приплывали и, выправивши билеты и заплативши положенный с них сбор, плыли вниз. Когда отправились караванки, то с них палили из пушек.

В воскресенье назначено было плыть лоцману Терентьичу. Пила с Сысойком и ребятами отпросились у лоцмана купить хлеба. Лоцман отпустил на полчаса. Звснули к обедне. Пила и Сысойко несколько раз проходили мимо собора и заглядывались на него. Идя теперь мимо него и увидав, что в ограду идет много людей, в том числе и бурлаки, подлиповцы вошли в собор. Ребята пробрались в народ на самую середину, а Пила с Сысойком стоят у дверей. Видят они, посередине церкви одевают кого-то, и надевают-то на него все хорошее... Нигде таких одежд они не видали. Нигде не слышали такого хорошего пения... Никогда не видали такой хорошей церкви... И расписано-то как. Певчие пропели очень громко... Сердце дрогнуло у Пилы. Настала тишина. Пила не утерпел.

— Баско! Ай баско!!—сказал он.

— Ишь ты. А!—проговорил Сысойко.

Их вывели на улицу казаки.

Они долго терлись на крыльце, заглядывали в стекла, видели только архиерея да много людей; хотели пробраться в церковь, но их не пустили.

— Эко ты диво! Кто же это?—удивлялся Пила, отходя прочь от церкви.

— Я баял, не надо итти.

— Уж нам где! А ты, Сысойко, поди, скличь ребят-то, а то без них барки не пойдут.

— Сам скличь.

— Поди, право. Боюсь.

Они пошли к всротам. Им попался офицер. Они сзяли шепки. Офицер прошел.

— Поштенный! а поштенный!—окликнул офицера Пила.

— Что вам?—спросил тот.

— Кликни там Пашку да Ваньку, тятка, мол, зовет, плыть тожко надо.

— Ступайте сами.

— Да не пушшаюг.—Офицер ушел. Пила и Сысойко постояли несколько времени, попросили еще кого-то послать к ним ребят, да тот и не отстелл даже им. Они пошли на рынок.

— Эко дело... Как теперь без ребят-то?—говорит Сысойко.

— Ты говори!..

— Ходить бы не надо.

— Ты вот то говори: они, поди, богатство там получают.

— Эх ты!

— А получают. Ишь, как там баско... Вдруг Бог-от и даст им богатство. Эвот сколько! Эво!..—говорит Пила, указывая рукой на большой дом.

— Пожалуй. Толды мы вместе станем жить?

— А не то, так и Матрену скличем.

— Апроську бы надо...

Пиле грустно сделалось. Теперь ему казалось, что у него и родных вовсе нет, кроме Сысойка, а ребята так и пропали. Жалко!

На рынке они купили по три ковриги хлеба и печонку. Сысойко вес хлеб, Пила печонку. Они опять подошли к архиерейской ограде.

— Пойдем туда,—говорил Сысойко.

— И! Гли, туда какие все идут.

— А вон бурлаки.

— Нас не пустят, ошшо в острог засадят.

Однако, они вошли в ограду, взошли на крыльцо и хотели войти в церковь. Их опять прогнали... Они пошли на барки.

— Может, они уж там, откачивают...

Их барка отваливала.

— Шевелись! черти!..—кричал на них лоцман.

Барка уже плыла. Пилу, Сысойка и еще трех бурлаков посадили на шитик.

— А ребята здесь?—спросил Пила лоцмана на барке.

— Ждать мне твоих ребят!

— Врешь?

— А ты пошто их бросил?

— Да они в церкви остались, не нашли... Эка беда!

— Поди глазек там впервые-то!

— Как же теперь?

— А так... На другу барку может пустят, только едва ли пустят без билета.

— Не здесь ли они, Сысойко? погляди,—спросил, немного погодя, Пила.

— Может.

Пила сходил на барку. В барке отливали воду два бурлака. Пиле и Сысойку еще скучнее сделалось.—Эко горе! Как же теперь без ребят-то! Помрут они там.

А барка между тем плыла да плыла. Города уже не видно.

До Елабуги плыли полторы недели. В это время они на сутки останавливались для починки барок и для закупки провизии в городах Осе и Сарапуле. О житье бурлаков в это время сказать нечего: оно было такое же, как и на Чусовой и в Перми, с тою только разницею, что работы было меньше, чем на Чусовой. Бурлаки уже привыкли к бурлацкой жизни, мало сетовали на свою судьбу; не удивлялись, как прежде, над пароходами, попадавшимися им навстречу и обгонявшими их раза по четыре в сутки; не удивлялись над величиною баржи: им теперь все пригляделось, надоело.

С потерю детей Пила сделался очень скучен и еще более привязался к Сысойку.

— Нету у меня теперь ребят, только ты один,—говорит он Сысойку ночью, лежа с ним в барке.

— Итти бы назад в церковь.

— Што делать! Уж ты не отставай от меня.

— Ты только не брось.

— Я не брошу. Што мне одному-то? Вон наши подлипцы, што им,—своих приятелей завели.

Елка и Морошка работали на носу и редко говорили с Пилой и Сысойком. Им почему-то не нравились Пила и Сысойко, и они даже наговаривали о них бурлакам, что они колдуны, в остроге сидели и прочее.

Каждый раз, когда нечего было делать, Пила и Сысойко садились куда-нибудь вдалеке от прочих бурлаков, смотрели друг на друга и жалели друг друга.

— Плохо, Сысойко! А-яй плохо... Так вот и болит *нутром*; уж болит!

— Как болит!.. Помереть бы....

— Сысойко: зачем ты не *баба*?..

— А пошто?

— Да так. Все бы оно лучше.

— А мы подем назад?

— Да надо ребят найти. Как найдем, и подем сюда.

Половина барок поплыла из Елабуги к устью Волги и в Саратов. Подлиповцев и прочих бурлаков заставили выгружать железо на берег, а потом нагружать в баржи. По окончании нагрузки Пила и Сысойко получили по четыре рубля денег, а прочие больше и меньше, смотря по тому, кто сколько забрал раньше вперед. Несколько бурлаков поступили на баржи, тысяча человек пошли в Вятскую губернию, кто по реке Вятке, впадающей в Каму недалеко от Елабуги, кто проселочными дорогами. Человек двести нанялись вести суда до Осы, Перми, Усолья и Чердыни. Груз был большею частью с хлебом. Пила и Сысойко нанялись с прочими подлиповцами до Усолья по шести рублей и получили задатку по полтора целковых.

Работа для подлиповцев теперь была еще тяжелее. Судно дожидалось попутного ветра. Ветер подул. Подняли паруса с песнями: «ухнем! ухнем! разом да раз!!!» Ветер потянул паруса и потянул судно. Подлиповцы удивлялись первый день, как это их тянет ветер. Прошли они так верст десять, судно вошло в такое место, где ветер не мог тащить судно. Судно подплыло к берегу посредством гребли и стало на якорь. «Бери бичеву!» сказали лоцмана. Бурлаки, в том числе и подлиповцы, положили в лодку бичеву—веревку, привязанную за верхушку и середину мачты, с кожаными петлями или лямками, и приплыли на берег.

— Вери бичеву!..

Бурлаки надели на груди лямки. Всех их было пятнадцать; на судне было десять бурлаков.

— Трогайся с Богом! трогайся! Што стали?

Бурлаки тронулись, пошли и стали: веревка точно за гору была привязана.

— Што стали! Шевелись, натягивай!—кричат мужики с судна.

Бурлаки потянули бичеву—и все ни с места.

— «Ухнем! ухнем! да раз!»—Они натянули вперед всей силой, их подало вперед.

— «Ухнем, ухнем, да раз!.. Дерни, подернем, да раз!»—И они уже шли, нагнувши спины, опустивши голову вниз; руки болтаются, ноги переступают едва-едва... «Дернем, подернем, да раз». И они идут, не увеличивая скорости шага; на плечах их точно что-то тяжелое лежит, такое тяжелое, что ужаси... Идут они так час, груди у них болят, ноги устали; с них каплет пот, большие шапки их закрывают глаза... Идут они тихо и покачиваются из стороны в сторону.

Идут они сегодня по песку—солнышко их жжет; на другой день идут болотистым берегом—ноги вязнут; выбились из сил, а лоцман то и дело кричит: «Што стали, пошли живо!» На третий день идет дождь, гремит гром, сверкает молния, а они идут и тянут богатство... Вот судно встало на мель. Пошли они к судну по колено в воде, вошли на судно и стали кивают его шестами с мели,—и опять их пробирает пот, солнышко или дождь. Вон стоят суда с высокими мачтами.

— Стой!—кричит лоцман.

Они хотят встать, их пятит назад.

— Брось бичеву!

Они снимают лямки и бросают. Бичева подбирается на судно. Много ловкости нужно иметь лоцману, чтобы провести судно кверху; много труда для бурлаков, нанявшихся вести судно на своих плечах!..

Как трудно подымается судно кверху, это видно из того, что наши подлиповцы пришли из Елабуги в Пермь через месяц, потому что они большею частью тащили его, а ветер дул редко.

Пида и Сысойко везде спрашивали про Павла и Ивана,

но никто не знал о них. В Перми они не шли бичевой, а сначала стояли против речки Данилихи, потом, когда подул ветер с низу, их протянуло до речки Егошихи, и здесь они простояли два дня, в которые выправили билеты. Пила справлялся на трех баржах и ничего не узнал о детях.

— Померли!—решил он.—Ну, хоть не мучатся. А то што им жить-то... А вот на нас так нету смерти.

— И мы поди не померем?—спросил на это Сысойко.

— Как не померем—все помирают. А все бы теперь лучше...

— А ты живи: я-то как без тебя?

— Ну, и ты помри.

— Утонуть?

— Ступай на Чусову, хлобыснись.

— Боюсь...

— Вот мы таперь муку прем, а небось ее не дадут нам, а дают когда гривну, когда полтину.

— Знамо, они богатые.

— Вот, бают, и в Чердынъ муку плавают, а пошто она там дорога?

— А по то: кто плавит-то,—богат! Вот те и богатство!

— Уж именно! Как преж жили, так и таперь придем без всего, да ошшо ребят нет.

— Што делать!.. Вот те и бурлачество!

— Трудно. Оно и баско там, да што? А мы, Сысойко, не подем уж в Перму, лучше соль будем делать: ишь, как там тепло, и денег, бают, больше дадут.

— И то ладно. Только на чучелу бы попасть, што с колесами бегат.

— Попробуй—попади! Прогонят. Везде гнали, и из Перми прогонят. Народ там, бают, злой...

— Все бы поплавать.

— Чорт ты экой! Ты погляди, што у те на груди-то? У меня, смотри, кожа слезла... А спина-то? Самого так и пощатыват,—хоть помереть можно... Сысойко! Пошто мы родились-то?.. Вон лошадям так славная жизнь-то...

— Ну их!.. А мы соль будем делать.

Через день Пила и Сысойко ведут такой разговор:

— Ошшо бы так-ту поплавать, как по Чусовой плыли...

Людей сколь, барок!.. города разные... И хлеб там был... — говорит Сысойко.

— Так оно. А таперь и люди-то побегли, бают, домой.

— А нам куды?.. што нам в деревне-то?..

— Там, Сысойко, бают, города баские есть. Бают, Перма супротив их пиголица... Походим ошшо тамока?

— Подем.

— Бают, город есть такой: дома все каменные, а вышина-то... в Перми нет таких домов. Там, бают, царь живет.

— И туды подем... А денег дают?

— Бают, баско там.

— А мы и таперь подем!

— Куды таперь поедешь? Я чуть иду, так бы вот и лежал...

А мы положим в Усолье и подем...

Через день опять другое:

— Гли, Пила, траву косят!.. Што бы нам землю дали, — уж и бурлачить бы не пошли.

— Э! Людям счастье, а нам где уж! Вон, бают, много есть бросовой земли, а не дают—богатые люди продают, да дорого... Здесь ошшо што: все лес да лес, а вон ниже Пермы видали мы, какие земли-то! бают, хлеба много.

— Пожить бы там... Гли, плот плывет!

— Пусть плывет. Ты вот то суди: люди-то на нем такие же, как и мы. А ты погляди, как рыбу тащат неводом. Вот так ремесло! Лучше этого ремесла ничего нет.

— И легко!

— Поймал и съел, и продать можно.

— Подем рыбачить.

— Подем... Поспим и подем.

— Слышь, Сысойко, какой я сон видел... Ходим мы в Перми, дома все инакие, огромнеющие—ужасти! Церквей столь!.. Хлеба так и накладена целая гора... Набрали мы много хлеба... Идем, идем, да и очутились в реке, и хлеба нет,—невод тащим... Вытащили—ничего нет; ошшо пошли, много достали рыбы... Столь много, што ужасти... Потом мы в варнице очутились... Печь большая, пребольшая; все дрова кидают, и мы кидам... Только кидам, кидам так-ту дрова и вижу я в печке-то Алроську... Кричит она: «татьяна, вытащи!»

тятька, вытащи!»... Ужаси... Стою я и не смею в пенку входить, а только тебя жжет, жжет, и сам будто ты в полуме стал. Кричу я эдак, а меня в печку толкают... Вот да сон.

— Беда!

— А как худо жить!.. Ходили мы, ходили с тобой, а што выходили? Смотри, лапти-то у нас куды гожи?.. а гунька то, гунька-то!..

— Ну, и жизнь!

— Походим ошшо; может, лучше будет.

— Кто ево знат. Ты считай, сколь бед-то.

— А поп баял, как помрешь, баеет, на том свете лучше будет,—баско... Значит и дом будет, и лошадь, и корова...

После этого разговора оба друга весь день ничего не говорили.

Предоставлю читателю самому судить о положении Пила и Сысойки. А таких бурлаков очень много. Пила говорил правду, что ему бы родиться не следовало: родился зачем-то человек, в детстве терпел горе, вся жизнь его горе-горькая, уж как ни пробовал выбиться из нищеты, нет-таки—стой! куда лезешь, лапотник?

До Усолья осталось верст тридцать. Полдень. Идет дождь и немилосердно мочит бурлацкие полушубки. Идут бурлаки часа четыре, то по колена в воде, то по болотистому берегу, то перескакивают через ручейки, переходят ложки. Все устали, измучились, как загнанные лошади, у всех пересохло горло. Все молчат уже с час.

Пила идет впереди, Сысойко рядом, Елка и Морошка позади их. Пила и Сысойко страшно исхудали и походят на мертвецов. Они целую неделю пролежали на судне, теперь немного поправились, и хотя едва-едва переступают ногами, хотя у них кружатся головы, лоцман заставил-таки их тащить судно. Две недели не пели бурлаки песен, говорили мало. А это худой признак. Водку пили только в Перми.

Идут бурлаки по отлогому берегу около плетня, которым огорожен чей-то покос с лесом; ноги скользят, запинаются за пни; все они покачиваются из стороны в сторону, свесивши головы, опустивши руки. Один только бурлак, молодой

парень, то и дело тараторит, издевается над вятскими мужиками.

— Пошли, значит, вячки утку стрелять, а никто и не умеет стрельнуть! Штука, значит, забористая...

— Ты уж баял. Лонись баял, давече баял...

— Толды не все; таперь как есть скажу.

— Ну, бай.

— Ну, и пошли, значит, стрелять семь мужиков одну утку, а ружье у них у всех одно, да и то забарабали у богато-го хресьянина... Ладно. Увидели утку и закричали: «Лови ее, халяву!» Побегли, она и спряталась. Потом выбегла и сидит на озере... Вот они и стали ружье затыкать порохом: один положил горсть, другой бает: «Погоди, я положу! моя, бает, копейчка не шербата...» Третий тоже бает: «Моя копейчка не шербовата», и пехает горстоцку пороху... И все так бают, и пехают горстоцку пороху... Ну, и положили все по горстоцке пороха, затыкали семью тряпками... Ну, вот один бает: «Я стрельну», другой тоже хочет стрельнуть и расцапались, а потом и обхватили все ружье разом... Ружье, как бзданет их всех,—кому руку ушибло, кому лицо—беда! а один, как стоял, так и упал—покойник сделался. А они и бают: «Скрадыват! скрадыват! и полегли с ним, головами врозь... Так и лежат, а встать не смеют... Только едет мужик и видит их... Едва-едва сдогадались, што один мужик помер. Ну, их и сцапали опосля, приволокли к начальству.

Бурлаки даже не улыкнулись и молча слушали рассказ. Они уже в четвертый раз на этом дню слышали этот рассказ. Молодой бурлак обиделся, зачем бурлаки не смеются, и начал другой рассказ, как вячки онучи сушили...

Судно нашло на мель. На нем шесть бурлаков работали шестами. Бичевники стали.

— Трогай сильнее, трогай! што стали?—понукал бичевников лоцман с судна.

Бичевники натянули бичеву, наперлись, закричали: «Дернем, подернем, да раз! ухнем да ухнем! разом да раз!»... Судно стоит на одном месте.

— Пошло, родимые, пошло! Прибавим силушки! Вот у речки отдохнем...—понукает лоцман.

Бичевники наперлись пуще прежнего, запели; судно подвинулось, они пошли, но шли так трудно, словно не-весть что тащили... Идут они, ни о чем не думая, а только далеко, далеко раздаётся их песня: «Ухнем! ухнем! разом да раз!.. ха! дерем, подернем, да раз!»... Вдруг бичева лопнула, все бурлаки упали... Кто ударился головой о плетень, кто коленкой о камень, кто расшиб нос и губы, кто свалился к воде, кто упал на товарища...

Восьмеро встали. У одного окровавлено лицо, другой жалуется, что бок ушиб, третий кажет руку, двое кричат: «Ой, брюхо болит! моченьки!»

Пила и Сысойко лежат без чувств в разных сторонах, облитые кровью. Бурлаки окружили их и стали смотреть. Пила разбил лоб, переломил левую ногу... Сысойко разбил грудь...

Все запечалились.

— Померли!.. Родимые...

— Эх-ма! Вот те и жизнь!.. Ох-хо-хо!—и бурлаки утирают черными жесткими ладонями глаза...

Пилу и Сысойку накрыли полушубками и отошли прочь.

Приплыл на берег один лоцман с бурлаками. Все погоревали, долго судили: что делать с Пилой и Сысойком, и решили свезти в деревню. Пилу и Сысойку положили на рогожи, завернули рогожами, приплатили в шитике на судно и там положили на палубе. Бурлаки не отходили от них, обмыли водой обзих и положили так, как мертвецов. Сысойко пришел в чувство, застонал, взглянул в левую сторону, где лежал Пила... Лицо Пилы было страшно.

— Пила!—простонал Сысойко.

— Дай водицы ему,—сказал лоцман одному бурлаку. Бурлаки почерпнули в ведро воды и влили в рог Сысойке воду. Тоже сделали и с Пилой.

Пила пошевелился, но не издал звука.

Сысойко смотрит на Пилу дико.

— Пила!—опять стонет он.

Пила издал глухой стон.

— Больно?—спрашивали Сысойка бурлаки.

Сысойко смотрит на всех дико, стонет... Вот он повернулся

на бок и смотрит на Пилу. Пила открыл глаза, пошевелил губами и ничего не сказал... Потом он протянул к Сысойке руку и умер...

— Помер!

— Добрый был, добрый...

— И мы так помрем...—рассуждают бурлаки, чуть не плача.

— Тятка!..—стонет Сысойка.

— И он помрет...

— Сысоюшко! поживи ошшо чуточку!..—говорят Сысойке бурлаки.

Лоцман никак не мог заставить бурлаков тянуть судно.

— Не трог!—говорят.—И мы помрем.

— Братцы, спехнем хоть судно-то. Смотрите, ветер!

— Нет, братан... Гляди!

Лоцман привык уже к подобным сценам и перевез Пилу и Сысойка в деревню, находившуюся недалеко.

Пилу схоронили бурлаки. Не одна слеза упала на Пилу. Холодные были эти слезы, слезы бурлацкие...

Сысойка оставили в деревне и судно кое-как сдвинули с мели. Оставили Сысойка в деревне без бурлаков у одного крестьянина, и через четыре дня после отплытия судна он умер...

Родился человек для горе-горьской жизни, весь век тащил на себе это горе, оно и сразило его... Вся жизнь его была в том, что он старался найти себе что-то лучшее...

Вот каково бурлачество и каковы люди бурлаки.

Елка и Морошка благополучно добрались до Усолья и там поступили на варницы. От работников они узнали, что жена Пилы, Матрена, за воровство попала в острог, а Тюнька воспитывается какою-то нищею. Эта нищая каждый день бьет его, берет с собою, заставляет говорить: «Подайте, ради Христа!» пропивает насобираемый хлеб и деньги и часто оставляет его без хлеба.

Положение этого ребенка очень незавидно. Ведь и он вырастет, и каким он будет человеком?..

Что сделалось с Павлом и Иваном? Они не нахвалятся своей судьбой; жизнь им кажется хорошая. У них заведен сундучок, в котором хранятся сапоги, зеркальце, чай, сахар, две ситцевые рубашки, два тиковых синего цвета халата. Они летом кочегарами на пароходе, а зимой работают на пристани. Летом они бывали в Нижнем, в Саратове, в Астрахани, едали яблоки и арбузы, очень развились и даже умеют читать.

Пила оставил их в Перми в соборе. Там они стояли около архиерейского места (престола по-церковному) и глядели, как одевали архиерея. Когда они услышали слово: *баско!* то думали, что это так и должно быть, и не обратили внимания на волнение в народе, когда выводили из собора Пилу и Сысойка, потому что они в это время смотрели на архиерея, на духовенство, на певчих и на живопись. Их все удивляло. Когда был великий выход, Павел сказал Ивану:

— А тятки нет!

— Он, поди, смотрит.—И простояли всю обедню. Они бы, пожалуй, два дня простояли, если бы два дня шла архиерейская служба. Когда стал выходить народ из церкви, они спохватились, что нет отца, забежали на дворе, везде выглядывали его, ушли опять в церковь, там уже не было людей. Они зашли и на хоры, и там уже нет; пошли в алтарь, но оттуда их прогнал староста. Погоревав на улице об отце, они пошли на рынок, походили там часа с три, насобирали Христа ради милостинки, наелись, спросили бурлаков об отце, ничего не узнали и пошли глазеть на народ.

— Где же тятка-то?—говорил Павел.

— Кто его знает.

— Он, поди, уплыл?

— Без нас не уплывет.

— А мы как?

— Мы здесь останемся. Ишь, баско!

— Все тятки жалко...

По городу они ходили с час и зашли на бульвар. На бульваре начала собираться губернская публика. Они выспались в канаве и когда пробудились, то бульвар был уже полон народа; играл военный оркестр; в шалаше играли

фокусники. Ребята все высмотрели, всему дивились: их очень забавляли офицеры, наряд людской, гимнастические упражнения, качели, танцы в зале.

— Баско!

— У нас нету так-то.

— И на барках иначе.

— Вот так город!

— А мы уж здесь останемся...

— А как протурят?

— Смотри, бурлаков сколь. Где же тятка-то?

— Он, поди, смотрит: ишь, сколь людей-то! Ишь, што дается!—говорят ребята, указывая на круглую качель.

Ночью они уснули на бульваре. Утром на бульваре никого не было, и ребята заплакали с горя.

В городе им попались бурлаки.

— Видели тятку?—спросил их Павел.

— А вы бурлаки?

— Бурлаки.

— Откедова?

— Чердынские.

— А откелева с баркам-то идете?

— А завод Шайтанский есть, оттодь и плывем. А тятку-то Пилой зовут, да ошшо Сысойко с ним.

— Не знам мы твое Пилы и Сысойка не знам. Шайтански отвалили уж.

Ребята запечалились и пошли с бурлаками на рынок. Они заплакали. Куда итти? где жить?

Пошли они собирать милостинку. Два дня собирали милостинку, исходили весь город, а ночами спали у соляных амбаров. Потом они наткнулись на одну пристань, увидели, как и что работают люди, сами стали работать и получили за работу по 20 коп. сер. в сутки. Целую неделю они спали под лодками, а потом над ними сжалился один водолив, узнавший от них о потере отца, и пустил спать в барже. По совету этого водолива, ребята и поступили на пароход с жалованьем по 6 р. в месяц.

Житье на пароходе ребятам кажется хорошим. Когда идет пароход, они постоянно бросают в печь дрова и в это

время ходят черные, как трубочисты, и только изредка любуются людьми. Они узнали, что такое пароход и знают каждый уголок в пароходе, каждую вещь, для чего она тут хранится или приделана. Товарищи любят их; в особенности любит их подручный повара и часто дает им то кусочек пирога, то кусочек жаркова или иных каких сластей понемногу, а главное—в свободное время, когда пароход стоял, учил их читать. В это свободное время Павел и Иван купались в реке, смывали с себя сажу, надевали чистенькие рубашки и ходили по городу, или спали, или починивали свою одежду. Зимой они отскребают снег, метут, колят дрова, носят воду и дрова то смотрителю пристани, то служащим на пристани, и часто исправляют должность кучеров.

Они часто вспоминают про отца и Сысойка. Сидят они у печки пароходной, покуривая трубки, и горюют:

— Жаль, Пашка, что отца нет. Все бы вместе лучше.

— Куда же он пропал? Вот и Сысойка нет.

— Уж Сысойко от отца не отстанет. Они, поди, все бурлачут.

— Да теперь уж поздно бурлачить: вон суда плывут к верху. Я, знаешь, ходил на палубу, а бурлаки судно тянут. Жалко мне стало.

— Поди, отец также тянет.

— А мы как увидим, где отца да Сысойка, дадим им денег и звать будем с нами жить.

— Ладно.

Обедают они и говорят:

— Жалко, Ванька, что отца нет! Поел бы он с нами. Ведь он никогда так не ел.

— Жив ли он, Пашка?

— Не потонул ли с баркой?..

Оденутся они прилично и говорят:

— Как посмотрел бы на нас отец да Сысойко, удивились бы... Ишь, какие мы!

— А мы как накопим денег, полушубки хорошие купим; а то дали нам какие-то большие да старые.

— Они, поди, теперь и не узнают нас.

— Я бы, знаешь, как стал бы жить: с нами отец с матерью

да с Сысойком, про людей бы да про города разные стал им рассказывать, а не то и читать им станем.

— Не поверят.

— Нам бы поверили: ты рассуди, ведь они родные нам. А вот скажи другой им, и не поймут.

— Почто же они такие?

— А Бог их знает. Так уж, верно, Бог устроил. Один богато живет, а другой бедно, и живут-то все по-своему: один сыт, а другой кору ест.

— А пошто же не все богаты?

— Ну, уж, и не говори больше... Ты говори спасибо, что и так-ту живем.



- ...тана, о сыне его славном и могущем богатыре князе
...прекрасной царевне Лебеди. Сказка о золотом петушке.
...1919. 40 с. 80 к.
- Пушкин, А. С. Скупой рыцарь. П. 1919. 24 с. 50 к.
- Пушкин, А. С. Стихотворения о разных странах, собранные под редакц. Валерия Брюсова. М. 1919. 40 с. 2 р.
- Пушкин, А. С. Стихотворения о свободе, собранные под ред. Валерия Брюсова. М. 1919. 56 с. 2 р.
- Пушкин, А. С. Стихотворения. 1815—1836 гг. Под ред. Валерия Брюсова. М. 1919. 48 с. 2 р.
- Пушкин, А. С. Цыгане. П. 1919. 28 с. 50 к.
- Решетников, Ф. М. Никола Знаменский. Тетюшка Опарина. П. 1919. 128 с. 8 р.
- Решетников, Ф. М. Рассказы: 1) Никола Знаменский. 2) Шилохвостов. М. 1919. 64 с. 80 к.
- Решетников, Ф. М. Яшка. М. 1919. 64 с. 1 р. 20 к.
- Суриков, И. З. Стихотворения. П. 1919. 80 с. 15 р.
- Толстой, Л. Н. Мирно ли человеку земля нульно. П. 1920. 20 с. 5 р.
- Толстой, Л. Н. Первый винокур или как чертенок краешку заслужил. Комедия. П. 1920. 32 с. 6 р.
- Толстой, Лев. После бала. Две истории улья с любовной крышкой. М. 1919. 82 с. 75 к.
- Толстой, Л. Н. Сказка об Иване дураке и его двух братьях Семёне Волне и Тарасе Брюхане и некоей сестре Маланье и о старом алькове и трех Чертенятах. П. 1919. 40 с. 4 р. 50 к.
- Толстой, Л. Н. Хотите в свете, пока есть свет, и другие рассказы. Книга I. П. 1918. XVI + 128 с. 75 к.
- Толстой, Л. Н. Свечка и другие рассказы. Книга II. П. 1918. 112 с. 1 р. 50 к.
- Толстой, Л. Н. Чем люди живы и другие рассказы. Книга III. П. 1918. 103 с. 1 р. 50 к.
- Толстой, Лев. Холстомер. М. 1919. 64 с. 1 р.
- Толстой, Л. Н. Чем люди живы. П. 1918. 32 с. 20 к.
- Тургенев, И. Вожня дур. М. 1920. 32 с. То же, П. 1919. 32 с. 6 ряс. 50 к.
- Тургенев, И. С. Бирюк. П. 1919. 16 с. 50 к.
- Тургенев, И. С. Разлет Щигровского уезда. П. 1919. 32 с. 50 к.
- Тургенев, И. С. Живое море. П. 1919. 24 с. 6 ряс. 50 к.
- Тургенев, И. С. Казни в Красной Мечи. П. 1919. 24 с. 50 к.
- Тургенев, И. С. Колец Чертошанова. П. 1919. 40 с. 1 р.
- Тургенев, И. С. Муму. М. 1919. 48 с. 2 р.
- Тургенев, И. С. Одноволгод Осириянов. П. 1919. 24 с. 50 к.
- Тургенев, И. С. Пенцы. М. 1918. 40 к. То же, П. 1919. 24 с. 60 к.
- Тургенев, И. С. Рассказы. Сестрицкиным очерком В. Охтенбаума. П. 1918. 144 с. 1 р. 50 к.
- Тургенев, И. С. Смерть. 1919. 50 с. 50 к.
- Тургенев, И. С. Хорь и Калиныч. П. 1919. 20 с. 50 к.
- Тургенев, И. С. Чертошанов и Незлобистик. П. 1919. 20 с. 1 р. 50 к.
- Тютчев, И. Ф. Стихотворения. Собраны под ред. и с объяснениями Валерия Брюсова. М. 1919. 48 с. 80 к.
- Успенский, Г. И. Будка. М. 1918. 50 к.
- Успенский, Г. И. Парамон Юродивый. М. 1919. 32 с. 50 к.
- Успенский, Г. И. Незлобистик. М. 1919. 80 к.
- Успенский, Г. И. Про счастливых людей. М. 1919. 50 к.
- Успенский, Николай. Рассказы. М. 1919. 32 с. 80 к.
- Чехов, Антон. Восьмье рассказы. М. 1919. 88 с. 2 р. 50 к.
- Чехов, Антон. Вно жизни. Рассказы. М. 1919. 48 с. 1 р. 50 к.
- Чехов, Антон. Мужики. Рассказы: 1) Мужики. 2) Темнога. М. 1919. 46 с. 1 р. 50 к.
- Чехов, Антон. Незваный Гость. Рассказы. М. 1919. 40 с. 1 р. 50 к.
- Чехов, Антон. Рабы души. Рассказы. П. 1920. 56 с. 10 р.

68
Цена 25 руб.

Указанная на книге цена ни
кем не может быть повышена.



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Москва • 1920.

115